

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

INSTITUT

BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA

10-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Tel. 26-68-63

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1903.

<http://rcin.org.pl>

WYDZIAŁ SŁOWNIKÓW

WYDZIAŁ SŁOWNIKÓW



Artystyczne zaawędnie A. F. MARNSA, Izmail. pr., № 29.



24.127/19-21

СТАРЫЙ ГЕНИЙ.

«Гений лѣтъ не имѣть—онъ преодолеваетъ все, что останавливаетъ обыкновенные умы».

Ларошфуко.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Петербургъ пріѣхала маленькая старушка-помѣщица, у которой было, по ея словамъ, «воиющее дѣло». Дѣло это заключалось въ томъ, что она, по своей сердечной добротѣ и простотѣ, чисто изъ одного участія, выручила изъ бѣды одного великосвѣтскаго франта, заложивъ для него свой домикъ, составлявшій все достояніе старушки и ея недвижимой, увѣчной дочери да внучки. Домъ былъ заложенъ въ пятнадцать тысячачъ, которыя франтъ полностью взялъ, съ обязательствомъ уплатить въ самый короткій срокъ.

Добрая старушка этому вѣрила, да и не мудрено было вѣрить, потому что должникъ принадлежалъ къ одной изъ лучшихъ семей, имѣлъ передъ собою блестящую карьеру и получалъ хорошіе доходы съ имѣній и хорошее жалованье по службѣ. Денежныя затрудненія, изъ которыхъ старушка его выручила, были послѣдствіемъ какого-то мимолетнаго увлеченія или неосторожности за картами въ дворянскомъ клубѣ, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «длинъ бы только доѣхать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой пріязни, помогла ему; онъ благополучно уѣхалъ въ Питеръ, а затѣмъ, разумеется, началась довольно обыкновенная въ подобныхъ случаяхъ игра въ кошку и мышку. Приходятъ сроки, старушка напоминаетъ о себѣ

письмами, — сначала самыми мягкими, потомъ немножко пожестче, а наконецъ, и бранится, — намекаетъ, что «это не честно», но должникъ ея былъ звѣрь травленный и все равно ни на какія ея письма не отвѣчалъ. А между тѣмъ время уходитъ, приближается срокъ закладной — и передъ бѣдной женщиной, которая уповала дожить свой вѣкъ въ своемъ домишкѣ, вдругъ разверзается страшная перспектива холода и голода съ увѣчной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка въ отчаяніи поручила свою больную и ребенка доброй сосѣдкѣ, а сама собрала кое-какія крохи и полетѣла въ Петербургъ «хлопотать».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Хлопоты ея вначалѣ были очень успѣшны: адвокатъ ей встрѣтился участливый и милостивый, и въ судѣ ей рѣшеніе вышло скорое и благопріятное, но какъ дошло дѣло до исполненія — тутъ и пошла закорюка, да такая, что и ума къ ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиція или иные какіе пристава должнику мирволили — говорятъ, что тотъ имъ самимъ давно надоѣлъ, и что они все старушку очень жалѣютъ и рады ей помочь, да *не смѣютъ*... Было у него какое-то такое могущественное родство, или свойство, что нельзя было его приструнить, какъ всякаго иного грѣшника.

О силѣ и значеніи этихъ связей достовѣрно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость предложила.

Не умѣю тоже вамъ рассказать въ точности, что надѣнимъ надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* съ роспискою» какую-то бумагу, и вотъ этого-то никто, никакія лица, никакого уряда — не могли сдѣлать. Къ кому старушка ни обратится, все ей въ одномъ родѣ совѣтуютъ:

— Ахъ, сударыня, и охота же вамъ! Бросьте лучше! Намъ очень васъ жаль, да что дѣлать, когда онъ никому не платить... Утѣшьте тѣмъ, что не вы первая, не вы и послѣдняя.

— Батюшки мои, — отвѣчаетъ старушка: — да какое же мнѣ въ этомъ утѣшеніе, что не мнѣ одной худо будетъ? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мнѣ, и всемъ другимъ хорошо было.

— Ну, отвѣчаютъ, — чтобъ всё-то хорошо — вы ужъ это оставьте, — это специалисты выдумали и это невозможно.

А та, въ простотѣ своей, пристаётъ:

— Почему же невозможно? У него состояніе во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ онъ всё-къ намъ долженъ, и пусть онъ должное отдастъ, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тѣмъ никогда много не бываетъ, а имъ всегда недостаточно, по главное дѣло въ томъ, что онъ платить не привыкъ, и если очень докучать станете — можетъ вамъ неприятность сдѣлать.

— Какую неприятность?

— Ну, что вамъ разспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдругъ уѣдете.

— Ну, извините, — говоритъ старушка: — я вамъ не по-вѣрю: онъ замотался, но человекъ хорошій.

— Да, отвѣчаютъ, — конечно, онъ баринъ хорошій, но только дурной платитъ; а если кто этимъ занялся, тотъ и все дурное сдѣлаетъ.

— Ну, такъ тогда употребите мѣры.

— Да вотъ тугъ-то, отвѣчаютъ, — и точка съ занятою: мы не можемъ противъ всёхъ «употреблять мѣры». Зачѣмъ съ такими знали.

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрятъ да отвернутся, или даже предложить идти высшимъ жаловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ходила она и къ выснимъ. Тамъ и доступъ труднѣе, и разговору меньше, да и отвлеченнѣе.

Говорятъ: «да гдѣ онъ? о немъ доносятъ, что его нѣтъ!»

— Помилуйте, — плачетъ старушка: — да я его всякій день на улицѣ вижу, — онъ въ своемъ домѣ живетъ.

— Это вовсе и не его домъ. У него нѣтъ дома: это домъ его жены.

— Вѣдь это все равно: мужъ и жена — одна сатана.

— Да это вы такъ судите, но законъ судить иначе. Жена на него тоже счета предъявляла и жаловалась суду, и онъ у нея не значителен... Онъ, чортъ его знаетъ, онъ всё-къ намъ надоѣлъ, — и зачѣмъ вы ему деньги давали! Когда онъ въ Петербургѣ бываетъ — онъ прописывается гдѣ-то въ меблированныхъ комнатахъ, но тамъ не живетъ.

А если вы думаете, что мы его защищаемъ, или намъ его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймите, — это ваше дѣло, — тогда ему «вручатъ».

Утѣшительнѣе этого старушка ни на какихъ высотахъ ничего не добила, и, по провинціальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка ротъ дереть».

— Что ты, говорить, — мнѣ ни увѣрай, а я вижу, что все оно оттого же самого движеть, что *надо смазать*.

Пошла она «мазать» и пришла еще болѣе огорченная. Говорить, что «прямо съ цѣлой тысячи начала», т. е. обѣщала тысячу рублей изъ взысканныхъ денегъ, но ее и слушать не хотѣли, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трехъ тысячъ, то ее даже попросили выйти.

— Трехъ тысячъ не берутъ за то только, чтобы бумажку вручить! Вѣдь это что же такое?... Нѣтъ, прежде лучше было.

— Ну, тоже, напоминаю ей: — забыли вы, вѣрно, какъ тогда хорошо шло: кто больше далъ, тотъ и правъ былъ.

— Это, отвѣчаетъ, — твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало его спросишь: «можно ли?» — а онъ отвѣчаетъ: «въ Россіи невозможности нѣтъ», и вдругъ выдумку выдумаетъ и сдѣлаетъ. Вотъ мнѣ и теперь одинъ такой объявился и пристасть ко мнѣ, да не знаю: вѣрить или нѣтъ? Мы съ нимъ вмѣстѣ въ Маринскомъ пассажѣ у сачника Василья обѣдаемъ, потому что я здѣь теперь экономлю и надъ каждымъ грошемъ трясусь, — горячаго уже давно не ѣмъ, все на дѣло берегу, а онъ, вѣрно, тоже по бѣдности или интуицій... но преубѣдительно говоритъ: «дайте мнѣ пятьсотъ рублей — я *вручу*». Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Голубушка моя, отвѣчаю ей: — увѣряю васъ, что вы меня своимъ горемъ очень трогаете, но я и своихъ-то дѣлъ вести не умѣю и рѣшительно ничего не могу вамъ посоветовать. Разспросили бы вы, по крайней мѣрѣ, о немъ кого-нибудь: кто опъ такой и кто за него поручиться можетъ?

— Да ужъ я сачника разспрашивала, только онъ ничего не знаетъ. «Такъ, говорить, надо думать, или купецъ притишилъ торговлю, или подунавшій изъ какихъ-нибудь своихъ благородій» <http://rcin.org.pl>

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала—кто онъ такой и какой на немъ чинъ? «Это, говоритъ, въ нашемъ обществѣ разсказывать совсѣмъ лишнее и не принято; называйте меня Иванъ Ивановичъ, а чинъ на мнѣ изъ четырнадцати овчинъ,—какую захочу, ту вверхъ шерстью и выворочу».

— Ну, вотъ видите, — это, выходитъ, совсѣмъ какая-то темная личность.

— Да, темная... «Чинъ изъ четырнадцати овчинъ»—это я понимаю, такъ какъ я сама за чиновникомъ была. Это значитъ, что онъ четырнадцатаго класса. А насчетъ имени и рекомендаціи прямо объявляетъ, что «насчетъ рекомендацій», говоритъ, «я ими пренебрегаю и у меня ихъ нѣтъ, а я гениальныя мысли въ своемъ лбу имѣю и знаю достойныхъ людей, которые всякій мой планъ готовы привести за триста рублей въ исполненіе».

— Почему же, батюшка, непременно *триста*?

— «А такъ,—ужъ это у насъ такой прификсъ, съ котораго мы уступать не желаемъ и больше не беремъ».

— Ничего, сударь, не понимаю.

— «Да и не надо. Ныѣшкіе вѣдь много тысячъ берутъ, а мы сотни. Мнѣ двѣсти за мысль и за руководство, да триста исполнительному герою, въ соразмѣрѣ, что онъ можетъ за исполненіе три мѣсяца въ тюрьмѣ сидѣть, и конецъ дѣла вѣнчасть. Кто хочетъ—пусть намъ вѣрится, потому что я всегда берусь за дѣла только за невозможныя; а кто вѣры не имѣетъ, съ тѣмъ дѣлать нечего»,—но что до меня касается,—прибавляетъ старушка,—то представь ты себѣ мое искушеніе: я ему почему-то вѣрю...

— Рѣшительно, говорю,—не знаю, отчего вы ему вѣрите?

— Вообрази—предчувствіе у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это какъ-то такъ тепло убѣждаетъ до-вѣряться.

— Не подождать ли еще?

— Подожду, пока возможно.

Но скоро это сдѣлалось невозможно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Приѣзжаетъ ко мнѣ старушка въ состояніи самой трогательной и острой горести: во-первыхъ, настаетъ Рождество; во-вторыхъ, изъ дому нишуть, что домъ на сихъ же дняхъ

поступаетъ въ продажу; и въ-третьихъ, она встрѣтила своего должника подь-руку съ дамой и погналась за ними и даже схватила его за рукавъ, и взывала къ содѣйствію публики, крича со слезами: «Боже мой, онъ мнѣ долженъ!» Но это повело только къ тому, что ее от должника съ его дамою отвлекли, а привлекли къ отвѣтственности за нарушеніе тишины и порядка въ людномъ мѣстѣ. Ужасиѣ же этихъ трехъ обстоятельствъ было четвертое, которое заключалось въ томъ, что должникъ старушки добылъ себѣ заграничный отпускъ и не позже, какъ завтра, уѣзжаетъ съ роскошною дамою своего сердца за границу, — гдѣ навѣрно пробудетъ годъ или два, а можетъ быть и совсѣмъ не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнѣній, что все это именпо такъ, какъ говорила старушка, не могло быть ни малѣйшихъ. Она научилась зорко слѣдить за каждымъ шагомъ своего неуловимаго должника и знала всѣ его тайности отъ подкупленныхъ его слугъ.

Завтра, стало быть, конецъ этой долгой и мучительной комедіи: завтра онъ несомнѣнно улизнетъ и надолго, а можетъ-быть и навсегда, потому что его компаньонка, все-конечно, не желала афинировать себя за мигъ или краткое мгновеніе.

Старушка все это во всѣхъ подробностяхъ повергла уже обсужденію дѣльца, имѣющаго чинъ изъ четырнадцати овчинъ, и тотъ тамъ же, сидя за почвами у саечника въ Маріинскомъ пассажѣ, отвѣчала ей:

— «Да, дѣло кратко, но помочь еще можно: сейчасъ пятьсотъ рублей на столъ, и завтра же ваша душа на просторъ; а если не имѣете ко мнѣ вѣры — ваши пятнадцать тысячъ пропали».

— Я, другъ мой, — рассказываетъ мнѣ старушка: — уже рѣшилась ему довериться... Что же дѣлать: все равно, вѣдь, никто не беретъ, а онъ беретъ и твердо говоритъ: «я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня такъ, глаза испытующи. — Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имѣю къ нему какое-то таинственное довѣріе въ моемъ предчувствіи, и сны такіе снились, что я рѣшилась и увела его съ собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у сасчника вѣдь только въ одну пору, все въ обѣдъ встрѣчаемся. А тогда уже поздно будетъ,—такъ я его теперь при себѣ веду и не отпущу до завтраго. Въ мои годы, конечно, ужъ объ этомъ никто ничего дурного подуматъ не можетъ, а за нимъ надо смотрѣть, потому что я должна ему сейчасъ же всѣ пятьсотъ рублей отдать и безъ всякой росписи.

— И вы рѣшаетесь?

— Конечно, рѣшаюсь.— Что же еще сдѣлать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала и онъ теперь ждетъ меня въ трактиръ, чай пить, а я къ тебѣ съ просьбою: у меня еще двѣсти пятьдесятъ рублей есть, а полтора ста нѣтъ. Сдѣлай милость, ссуди меня,—я тебѣ возвращу. Пусть хоть домъ продадутъ,—все-таки тамъ полтора ста рублей еще останется.

Зналъ я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ей такое трогательное,—думаю: отдасть или не отдасть—Господь съ ней, отъ полтора ста рублей не разбогатѣешь и не обѣдѣешь, а между тѣмъ у нея мученія на душѣ не останется, что она не всѣ средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дѣло.

Взяла она просимыя деньги и поплыла въ трактиръ къ своему отчаянному дѣльцу. А я съ любопытствомъ дожидалъ ее на слѣдующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое шукарство изловчатся плутовать въ Петербургѣ?

Только то, о чемъ я узналъ, превзошло мои ожиданія: пассажный геній не постыдилъ ни вѣры, ни предчувствій доброй старушки.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

На третій день праздника, она влетаетъ ко мнѣ въ дорожномъ платьѣ и съ саквояжемъ, и первое чтò дѣлаетъ,—кладетъ мнѣ на столъ занятыя у меня полтора ста рублей, а потомъ показываетъ банковую, переводную росписку слишкомъ на пятнадцать тысячъ...

— Глазамъ своимъ не вѣрю! Что это значитъ?

— Ничего больше, какъ я получила всѣ свои деньги съ процентами.

— Какимъ образомъ? Неужто все это четырнадцати-овчинный Иванъ Ивановичъ устроилъ?

— Да, онъ. Впрочемъ, былъ еще и другой, которому онъ отъ себя триста рублей далъ, — потому что безъ помощи этого человѣка обойтись было невозможно.

— Это что же еще за дѣятель? Вы ужъ расскажите все, какъ они вамъ помогали!

— Помогли очень честно. Я какъ пришла въ трактиръ и отдала Ивану Иванычу деньги—онъ сосчиталъ, принялъ и говоритъ: «теперь, госпожа, поѣдемъ. Я, говоритъ, геній по мысли моей, но мнѣ нуженъ исполнитель моего плана, потому что я самъ таинственный незнакомецъ и своимъ лицомъ юридическихъ дѣйствій производить не могу». Ъздили по многимъ низкимъ мѣстамъ и по банямъ — все искали какого-то «сербскаго сражателя», но долго его не могли найти. Наконецъ нашли. Вышелъ этотъ сражатель изъ какой-то ямки, въ сербскомъ военномъ костюмѣ, весь оборванный, а въ зубахъ пиючка изъ газетной бумаги и говоритъ: «я все могу, чтò кому нужно, но прежде всего надо выпить». Всѣ мы трое въ трактирѣ сидѣли и торговались, и сербскій сражатель требовалъ «по сту рублей на мѣсяць, за три мѣсяца». На этомъ рѣшили. Я еще ничего не понимала, но видѣла, что Иванъ Иванычъ ему деньги отдалъ, стало-быть, онъ вѣритъ, и мнѣ полегче стало. А потомъ я Ивана Иваныча къ себѣ взяла, чтобы въ моей квартирѣ находился, а сербскаго сражателя въ бани почевать отпустили съ тѣмъ, чтобы утромъ явился. Онъ утромъ пришелъ и говоритъ: я готовъ! А Иванъ Иванычъ мнѣ шепчетъ: «Пошлите для него за водочкой: отъ него нужна смѣлость. Много я ему пить не дамъ, а немножко необходимо для храбрости: настаетъ самое главное его исполненіе».

Выпилъ сербскій сражатель, и они поѣхали на станцію желѣзной дороги, съ поѣздомъ которой старушкинъ должникъ и его дама должны были уѣхать. Старушка все еще ничего не понимала, чтò такое они замыслили и какъ исполнять, но сражатель ее успокоивалъ и говорилъ, что «все будетъ честно и благородно». Стала сѣзжаться къ поѣзду публика, и должникъ явился тутъ, какъ листъ передъ травою, и съ нимъ дама; лакей беретъ для нихъ билеты, а онъ сидитъ съ своей дамой, чай пьетъ и тревожно осматривается на всѣхъ. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указываетъ на должника, говоритъ: «вотъ—онъ!»

Сербскій вонтель увидалъ, сказалъ «хорошо» и сейчасъ же всталъ и прошелъ мимо франта разъ, потомъ во второй, а потомъ въ третій разъ, прямо противъ него остановился и говоритъ:

— Чего это вы на меня такъ смотрите?

Тотъ отвѣчаетъ: «я на васъ вовсе никакъ не смотрю, я чай пью».

— А-а!—говоритъ вонтель:— вы не смотрите, а чай пьете? такъ я же васъ заставлю на меня смотрѣть, и вотъ вамъ отъ меня къ чаю лимонный сокъ, песокъ и шоколаду кусокъ!.. Да съ этимъ—хлопъ, хлопъ, хлопъ! его три раза по лицу и ударилъ!

Дама бросилась въ сторону, господинъ тоже хотѣлъ убѣжать и говорилъ, что онъ теперь не въ претензіи; но полиція подскочила и вмѣшалась: «этого, говоритъ, нельзя: это въ публичномъ мѣстѣ»,— и сербскаго вонтеля арестовали, и побитаго тоже. Тотъ въ ужасномъ былъ волненіи, — не знаетъ: не то за своей дамой броситься, не то полиціи отвѣчать. А между тѣмъ уже и протоколъ готовъ, и поѣздъ отходить... Дама уѣхала, а онъ остался... и какъ только объявилъ свое званіе, имя и фамилію, полицейскій говоритъ: «такъ вотъ у меня кстати для васъ и бумажка въ портфель есть для врученія». Тотъ — дѣлать нечего — при свидѣтеляхъ поданную ему бумагу принялъ, и, чтобы освободить себя отъ обязательствъ о невыѣздѣ, немедленно же сполна и съ процентами уплатилъ чекомъ весь долгъ своей старушкѣ.

Такъ были побѣждены неодолимая затрудненія, правда восторжествовала и въ честномъ, но бѣдномъ домѣ водворился покой, и праздникъ сталъ тоже свѣтелъ и веселъ.

Человѣкъ, который нашелся—какъ уладить столь трудное дѣло, кажется, вполне имѣетъ право считать себя въ самомъ дѣлѣ гениемъ.

ПУТЕШЕСТВІЕ СЪ НИГИЛИСТОМЪ.

«Кто скачетъ, кто мчится
въ таинственной мглѣ?»

Гете.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Случилось провести мнѣ рождественскую ночь въ вагонѣ, и не безъ приключеній.

Дѣло было на одной изъ маленькихъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей, такъ сказать, совсѣмъ въ сторонѣ отъ «большого свѣта». Линія была еще не совсѣмъ окончена, поѣзда ходили неаккуратно, и публику помѣщали какъ попало. Какой классъ ни возьми, все выходитъ одно и то же,—всѣ являются вмѣстѣ.

Буфетовъ еще нѣтъ; многіе, чувствуя холодъ, грѣются изъ дорожныхъ фляжекъ.

Согрѣвающіе напитки развиваютъ общеніе и разговоры. Больные всего толкуютъ о дорогѣ и судятъ о ней снисходительно, что бываетъ у насъ не часто.

— Да, плохо насъ везутъ,—сказалъ какой-то военный:— а все спасибо имъ,—лучше, чѣмъ на коняхъ. На коняхъ въ сутки бы не доѣхали, а тутъ завтра къ утру будемъ и завтра назадъ можно. Должностнымъ людямъ то удобство, что завтра съ родными повидеаешься, а послѣзавтра и опять къ службѣ.

— Вотъ и я то же самое,—поддержалъ, вставъ на ноги и держась за спинку скамьи, большой, сухощавый духовный;—вотъ у нихъ въ городѣ дьяконъ гласомъ подунавши, многолѣтіе—въ родѣ <http://www.vostok.org.pl> выводитъ. Пригласили меня

за десятку позднюю обѣдню сдѣлать. Многолѣтне проворчу и опять въ ночь въ свое село.

Одно находили на лошадахъ лучше, что можно ѣхать въ своей компаніи и гдѣ угодно остановиться.

— Ну, да вѣдь здѣсь компанія-то не навѣкъ, а на часъ, — молвилъ купецъ.

— Однако, иной если и на часъ навяжется, то можно его всю жизнь помнить, — отозвался дьяконъ.

— Чего же это такъ?

— А если, напримѣръ, нигилистъ, да въ полномъ своемъ облаченіи, со всеми составами и револьверъ-барбосомъ.

— Это сужектъ полицейскій.

— Всякаго это касается, потому вы знаете ли, что отъ одного, даже трясенія... пафъ—и готово.

— Оставьте, пожалуйста... Къ чему вы это къ ночи завели. У насъ этого званія еще нѣтъ.

— Можетъ съ поля взятыя.

— Лучше спать давайте.

Всѣ послушались купца и заснули, и не могу уже вамъ сказать, сколько мы проспали, какъ вдругъ насъ такъ сильно встряхнуло, что всѣ мы проснулись, а въ вагонѣ съ нами уже былъ нигилистъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Откуда онъ взялся? Никто не замѣтилъ, гдѣ этотъ неприятный гость могъ взойти, но не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что это настоящій, чистокровный нигилистъ, и потому сонъ у всѣхъ пропалъ сразу. Разсмотрѣть его еще было невозможно, потому что онъ сидѣлъ впотемочкахъ въ углу у окна, но и смотрѣть не надо — это такъ уже чувствовалось.

Впрочемъ, дьяконъ попробовалъ произвести обзорніе личности: онъ прошелся къ выходной двери вагона, мимо самаго нигилиста, и, возвратясь, объявилъ потихоньку, что весьма ясно примѣтилъ «рукава съ фибрами», за которыми непременно спрятанъ револьверъ-барбосъ или бинамидъ.

Дьяконъ оказывался человѣкомъ очень живымъ и, для своего сельскаго званія, весьма просвѣщеннымъ и любопытнымъ, а къ тому же и находчивымъ. Онъ немедленно сталъ подбивать военнаго, чтобы тотъ вынулъ па-

пироску и пошелъ къ нигилисту попросить огня отъ его сигары.

— Вы, говорить,—не цивилизные, а вы со шпорою—вы можете на него такъ топнуть, что онъ какъ бильярдный шаръ выкатится. Военному все смѣлѣе.

Къ поѣздовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно насъ заперло на ключъ и само отсутствовало.

Военный согласился: онъ всталъ, постоялъ у одного окна, потомъ у другого и, наконецъ, подошелъ къ нигилисту и попросилъ закурить отъ его сигары.

Мы зорко наблюдали за этимъ маневромъ и видѣли, какъ нигилистъ схитрилъ: онъ не далъ сигары, а зажегъ спичку и молча подаль ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и въ совершенномъ молчаніи. Ткнулъ въ руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженнаго вниманія было довольно и одного этого свѣтоваго момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядѣли, что это человекъ совершенно сомнительный, даже неопредѣленнаго возраста. Точно донской рыбець, котораго не отличишь—нынѣшній онъ или прошлогодній. Но подозрительнаго много: греховскіе круглые очки, неблагонамѣренная фуражка, не православнымъ блиномъ, а съ еретическимъ надзатыльникомъ, и на плечахъ тиническій пледъ, составляющій въ нигилистическомъ сословіи своего рода «мундирную пару», но что всего болѣе намъ не понравилось—это его лицо. Не патлатое и воеводственное, какъ бывало у ортодоксальныхъ нигилистовъ шестидесятыхъ годовъ, а нынѣшнее—щуковатое, такъ сказать фальсифицированное и представляющее какъ бы нѣкую невозможную помѣсь нигилистки съ жандармомъ. Въ общемъ это являетъ собою подобіе геральдическаго козерога.

Я не говорю геральдическаго *льва*, а именно геральдическаго *козерога*. Помните, какъ ихъ обыкновенно изображаютъ по бокамъ аристократическихъ гербовъ: посрединѣ пустой шлемъ и забрало, а на него щерятся левъ и козерогъ. У послѣдняго вся фигура безнокойная и острая, какъ будто «счастья онъ не ищетъ и не отъ счастья бѣжить». Вдобавокъ и колера, въ которые былъ окрашенъ нашъ неприятный сопутникъ, не обѣщали ничего добраго: волосенки цвѣта гаванна, лицо зеленоватое, а глаза сѣрые и бѣгаютъ

как метрономъ, поставленный на скорый темпъ «allegro udiratto». (Такого темпа въ музыкѣ, разумѣется, нѣтъ, но онъ есть въ нигилистическомъ жаргонѣ).

Чортъ его знаетъ: не то его кто-то догоняетъ,—или онъ за кѣмъ-то гонится—никакъ не разберешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Восный, возвратясь на свое мѣсто, сказалъ, что на его взглядъ нигилистъ немножко чисто одѣтъ, и что у него на рукахъ есть перчатки, а передъ нимъ на противоположной лавочкѣ стоитъ обѣлевая корзинка.

Дьяконъ, впрочемъ, сейчасъ же доказалъ, что все это ничего не значитъ, и привелъ къ тому нѣсколько любопытныхъ исторій, которыя онъ зналъ отъ своего брата, служащаго гдѣ-то при таможенѣ.

— Черезъ нихъ,—говорилъ онъ:—разъ проѣзжалъ даже не въ простыхъ перчаткахъ, а филь-де-помъ, а какъ стали его обыскивать—обозначился шульеръ. Думали смѣрный—посадили его въ подводную тюрьму, а онъ изъ-подъ воды ушелъ.

Всѣ заинтересовались: какъ шульеръ ушелъ изъ-подъ воды?

— А очень просто,—разъяснилъ дьяконъ:—онъ началъ притворяться, что его занапрасно посадили, и началъ просить свѣчку. «Миѣ, говорить,—въ темнотѣ очень скучно, прошу дозволить свѣчку, я хочу въ поверхностную комиссію графу Лорисъ-Мелихову объявленіе написать, кто я таковъ, и въ какихъ упованіяхъ прошу прощады и хорошее мѣсто. Но комендантъ былъ старый, мушкетнаго пороку,—зналъ всѣ ихъ хитрости и не позволилъ: «Кто къ намъ, говорить,—залученъ, тому нѣтъ прощады», и такъ все его впопыхахъ и томилъ; а какъ этотъ померъ, а новаго назначили, шульеръ видитъ, что этотъ изъ неопытныхъ — навзрыдъ передъ нимъ зарыдалъ, и началъ просить, чтобы ему хоть самый маленькій салыный огарочекъ дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорить,—что я хочу благочестивыя мысли читать и въ раскаяніе придти». Новый комендантъ и далъ ему свѣчной огарокъ и духовный журналъ «Православное Воображеніе», а тотъ и ушелъ.

— Какъ же онъ ушелъ?

— Съ огаркомъ и ушелъ.

Военный посмотрѣлъ на дьякона и сказалъ:

— Вы какой-то вздоръ рассказываете!

— Ничего не вздоръ, а слѣдствіе было.

— Да что же ему огарокъ значилъ?

— А чортъ его знаетъ, что значилъ! Только послѣ стали вездѣ по каморкѣ смотрѣть — ни дыры никакой, ни щелочки, — ничего нѣтъ, и огарка нѣтъ, а изъ листовъ изъ «Православнаго Воображенія» остались одни корневильскіе корешки.

— Ну, вы совсѣмъ чортъ знаетъ что говорите! — нетерпѣливо молвилъ военный.

— Ничего не вздоръ, а я вамъ говорю — и слѣдствіе было, и узнали потомъ, кто онъ такой, да уже поздно.

— А кто же онъ такой былъ?

— Нахалкиканецъ изъ-за Ташкенту. Генераль Черняевъ его верхомъ на битюкѣ послалъ, чтобы онъ болгарамъ отъ Кокорева пятьсотъ рублей отвезъ, а онъ, по театрамъ да по баламъ, всѣ деньги въ карты проигралъ и убѣжалъ. Свѣчнымъ саломъ смазался, а съ свѣтилемъ ушелъ.

Военный только рукою махнулъ и отвернулся.

Но другимъ пассажирамъ словоохотливый дьяконъ ничемало не наскучилъ: они любовно слушали, какъ онъ отъ коварнаго нахалкиканца съ корневильскими корешками перешелъ къ настоящему нашему собственному положенію съ подозрительнымъ нигилистомъ. Дьяконъ говорилъ:

— Я на его чистоту не лыщусь, а какъ вотъ придетъ сейчасъ первая станція — здѣсь одна сторожиха изъ керосиновой бутылочки водку продаетъ, — я поднесу кондуктору бутершaftъ, и мы его встряхнемъ и что въ бѣльевой корзинѣ есть, посмотримъ... какіе тамъ у него составы...

— Только надо осторожнѣе.

— Будьте покойны — мы съ молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тутъ насъ вдругъ и толкнуло, и завизжало. Многіе вздрогнули и перекрестились.

— Вотъ оно и есть, — воскликнулъ дьяконъ: — паѣхали на станцію!

Онъ вышелъ и побѣжалъ, а на его мѣсто пришелъ кондукторъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кондукторъ сталъ прямо передъ нигилистомъ и ласково молвить:

— Не желаете ли, господинъ, корзиночку въ багажъ сдать?

Нигилистъ на него посмотрѣлъ и не отвѣтилъ.

Кондукторъ повторилъ предложеніе.

Тогда мы въ первый разъ услышали звукъ голоса нашего ненавистнаго попучика. Онъ дерзко отвѣчалъ:

— *Не желаю.*

Кондукторъ ему представилъ резоны, что «такихъ большихъ вещей не дозволено съ собой въ вагоны вносить».

Онъ процѣдилъ сквозь зубы:

— И прекрасно, что не дозволено.

— Такъ желаете, я корзиночку сдамъ въ багажъ?

— *Не желаю.*

— Какъ же, сами правильно разсуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

— *Не желаю.*

Взосшедшій на эту исторію дьяконъ не утерпѣлъ и воскликнулъ: — «развѣ такъ можно!» но, услыжавъ, что кондукторъ пригрозилъ «оберомъ» и протоколомъ, успокоился и согласился ждать слѣдующей станціи.

— Тамъ городъ, — сказалъ онъ намъ: — тамъ его и скрутятъ.

И что въ самомъ дѣлѣ за упрямый человѣкъ: ничего отъ него не добьются, кромѣ одного—«не желаю».

Неужто тутъ и взаправду замѣшаны корневильскіе корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали слѣдующей станціи съ нетерпѣніемъ.

Дьяконъ объявилъ, что тутъ у него жандармъ даже кумъ и человѣкъ стараго мушкетнаго пороху.

— Онъ, говоритъ, — ему такую завинтушку подъ ребро ткнетъ, что изъ него все это роляное воспитаніе выскочитъ.

Оберъ явился еще на ходу поѣзда и настойчиво сказалъ:

— Какъ пріѣдемъ на станцію, извольте эту корзину взять.

А тотъ опять тѣмъ же тономъ отвѣчаетъ:

— *Не желаю.*

- Да вы прочитайте правила!
— Не желаю.
— Такъ пожалуйста со мною объяснитесь къ начальнику
станціи. Сейчасъ остановка.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пріѣхали.

Станціонное зданіе побольше другихъ и поотдѣланиѣе: видны огни, самоварь, на платформѣ и за стеклянными дверями буфетъ и жандармы. Словомъ, все, что нужно. И вообразите себѣ: нашъ нигилистъ, который оказывалъ столько грубаго сопротивленія во всю дорогу, вдругъ обнаружилъ намѣреніе сдѣлать движеніе, извѣстное у нихъ подъ именемъ *allegro udiratto*. Онъ взялъ въ руки свой маленькій саквояжикъ и направился къ двери, но дьяконъ замѣтилъ это и очень ловкимъ манеромъ загородилъ ему выходъ. Въ эту же самую минуту появился оберъ-кондукторъ, начальникъ станціи и жандармъ.

— Это ваша корзина?—спросилъ начальникъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ нигилистъ.

— Какъ нѣтъ?!

— Нѣтъ.

— Все равно, пожалуйста.

— Не уйдешь, братъ, не уйдешь,—говорилъ дьяконъ.

Нигилиста и всѣхъ насъ, въ качествѣ свидѣтелей, попросили въ комнату начальника станціи и сюда же внесли корзину.

— Какія здѣсь вещи?—спросилъ строго начальникъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ нигилистъ.

Но съ нимъ больше не церемонились: корзину мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а въ это же самое мгновеніе въ контору съ отчаяннымъ воплемъ ворвался еврей и закричалъ, что это его корзинка, и что платье, которое въ ней, онъ везетъ одной знатной дамѣ; а что корзину, дѣйствительно, поставилъ онъ, а не кто другой, въ томъ онъ сослался на нигилиста.

Тотъ подтвердилъ, что они взонли вмѣстѣ, и еврей, дѣйствительно, внесъ корзину и поставилъ ее на лавочку, а самъ легъ подъ сидѣнье.

— А билетъ?—спросили у еврея.

— Ну, что билетъ,—отвѣчалъ онъ...—Я не зналъ, гдѣ брать билетъ...

Еврея вѣдно придержать, а отъ нигилиста потребовали удостовѣренія его личности. Онъ молча подалъ листокъ, взглянувъ на который начальникъ станціи рѣзко перемѣнилъ тонъ и попросилъ его въ кабинетъ, добавивъ при этомъ:

— Ваше превосходительство здѣсь ожидаютъ.

А когда тотъ скрылся за дверью, начальникъ станціи приложилъ ладони рукъ рупоромъ ко рту и отчетливо объявилъ намъ:

— Это *прокуроръ судебной палаты!*

Всѣ ощутили полное удовольствіе и перенесли его въ молчаніи; только одинъ военный вскрикнулъ:

— А все это надѣлалъ этотъ болтуниъ дьяконъ! Ну-ка— гдѣ онъ... куда онъ дѣлся?

Но всѣ напрасно оглядывались: «куда онъ дѣлся»,—дьякона уже не было; онъ исчезъ, какъ нахалкиканецъ, даже и безъ свѣчки. Она, впрочемъ, была и не нужна, потому что на небѣ уже свѣтало и въ городѣ звонили къ рождественской заутренѣ.

МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА.

СЕКРЕТЪ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ФАМИЛИИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Вечеркомъ, на свѣткахъ, сидя въ одной благоразумной компаніи, было говорено о вѣрѣ и о невѣріи. Рѣчь шла, впрочемъ, не въ смыслъ высшихъ вопросовъ деизма или матеріализма, а въ смыслъ вѣры въ людей, одаренныхъ особыми силами предвѣдѣнія и прорицанія, а, пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тутъ же нѣкто, степенный московскій человѣкъ, который сказалъ слѣдующее:

— Не легко это, господа, судить о томъ: кто живетъ съ вѣрою, а который не вѣруетъ, ибо разные тому въ жизни бываютъ прилоги; случается, что разумъ-то нашъ въ таковыхъ случаяхъ впадаетъ въ ошибки.

И послѣ такого вступленія онъ разсказалъ намъ любопытную повѣсть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетюшка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетюшка, — никакого дѣла не начинала, у него не спросившись. Сначала бывало сходить къ нему въ сумасшедшій домъ и посовѣтуется, а потомъ попросить его, чтобы за ея дѣло молился. Дядюшка былъ себѣ на умѣ и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже довѣрялъ иногда и носить ему дары и жертвы не преняствовалъ. Люди они были не богатые, но очень достаточные, — торговали часмъ и сахаромъ изъ

магазина въ своемъ домѣ. Сыновей у нихъ не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Всѣ онѣ были собою недурны и хорошо знали разныя работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужемъ, только не за купцомъ, а за живописцемъ,—однако, очень хорошии былъ человекъ и довольно зарабатывалъ — все бралъ подряды выгодно церкви расписывать. Одно въ немъ всему родству неприятно было, что работалъ божественное, а зналъ какія-то вольнодумства изъ Курганова «Письмовлика». Любилъ говорить про Хаосъ, про Овидія, про Проміея и охотникъ былъ сравнивать баснословія съ бытописаніемъ. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе — то, что у нихъ дѣтей не было, и дядюшку съ теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замужъ, и вдругъ она три года была бездѣтна. За это другихъ сестеръ женихи обѣгать стали.

Тетунка спрашивала Ивана Яковлевича, черезъ что ей дочь не родить: — оба, говорить, — молоды и красивы, а дѣтей нѣтъ?

Иванъ Яковлевичъ забормоталъ:

— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказницы перевели теткѣ, что батюшка велить,— говорятъ,— вашему зятю, чтобы онъ Богу молился, а онъ должно быть, у васъ маловѣрующій.

Тетунка такъ и ахнула: все, говорить, — ему явлено! И стала она приставать къ живописцу, чтобы онъ поисповѣдался; а тому все тринь-трава! Ко всему легко относился... даже по постамъ скоромное ѣлъ... и притомъ, слышать они стороною, будто онъ и червей, и устриць вкушаетъ. А жили они всѣ въ одномъ домѣ, и часто сокрушались, что есть въ ихнемъ купеческомъ родствѣ такой человекъ безъ вѣры.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вотъ и пошла тетка къ Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разомъ помолиться о еже рабѣ Капитолинѣ: отверсти ложесна, а раба Ларія (такъ живописца звали) просвѣтити вѣрою.

Просять объ этомъ вмѣстѣ и дядя, и тетка.

Иванъ Яковлевичъ залепеталъ что-то такое, чего и по-

нять нельзя, а его послушныя женки, которыя возлѣ него присидѣли, разьясняютъ:

— Онъ, говорятъ, — нынѣ невиновенъ, а вы скажите о чемъ просите, — мы ему завтра на записочкѣ подадимъ.

Тетушка стала сказывать, а тѣ записываютъ: «Рабѣ Капнтолинѣ отверсть ложесна, а рабу Ларію усугубити вѣру.»

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кромѣ одной Капочки, и то съ тѣмъ, чтобы она мужу своему, невѣрному живописцу, этого не передавала, а только жила бы съ нимъ какъ можно ласковѣе и согласнѣе, и смотрѣла за нимъ: не будетъ ли онъ приближаться къ вѣрѣ въ Ивана Яковлевича. А онъ былъ ужасный чертыханщикъ, и все съ присловьями, точно скоморохъ съ Прѣсни. Все ему шутки да забавки. Придетъ въ сумерки къ тестю — «пойдемъ, — говоритъ, — часословъ въ пятьдесятъ два листа читать», то-есть, значить, въ карты играть... Или садится, — говоритъ: — «съ уговоромъ, чтобы играть до перваго обморока».

Тетушка, бывало, этихъ словъ слышать не можетъ. Дядя ему и сказалъ: — «Не огорчай такъ ее: она тебя любитъ и за тебя обѣщаніе сдѣлала». А онъ размѣялся и говоритъ тещѣ:

— Зачѣмъ вы невѣдомыя обѣщанія даете? Или вы не знаете, что черезъ такое обѣщаніе глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, можетъ у насъ въ домѣ какое-нибудь неожиданное несчастіе быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякій день, въ тревогѣ, въ сумасшедшій домъ бѣгала. Тамъ ее успокоятъ, — говорятъ, что дѣло идетъ хорошо: батюшка всякій день записку читаетъ, и что теперь о чемъ писано, то скоро сбудется.

Вдругъ и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Приходитъ къ тетушкѣ средняя ея дочь дѣвица Катечка и прямо ей въ ноги, и рыдаетъ, и горько плачетъ.

Тетушка говоритъ: — что тебѣ — кто обидѣлъ?

А та сквозь рыданія отвѣчаетъ:

— Милая тетенька, и сама я не знаю, что это такое и

отчего... въ первый и въ послѣдній разъ сдѣлалось... Только вы отъ тятеньки мой грѣхъ скройте.

Тетушка на нее посмотрѣла да прямо пальцемъ въ животъ ткнула и говоритъ:

— Это мѣсто?

Катечка отвѣчаетъ:

— Да, тетенька... какъ вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

— Дитя мое, говоритъ,—и не дознавайся: это, можетъ быть, я виновата въ ошибкѣ,—я сейчасъ узнать съѣзжу,—и сейчасъ на извозчикѣ полетѣла къ Ивану Яковлевичу.

— Покажите, говоритъ,—мнѣ записку нашей просьбы, о чемъ батюшка для насъ проситъ рабѣ Божьей плоть чрева: какъ она писана?

Присѣдникъ поискал на огнѣ и подал.

Тетушка взглянула, и мало ума не рѣшилась. Что вы думаете? Дѣйствительно вѣдь все вышло по ошибочному моленію потому, что на мѣсто рабы Божіей Капитолины, которая замужемъ, тамъ писана раба Катерина — которая еще незамужняя, дѣвица.

Женки говорятъ:—Пооди же, какой грѣхъ! Имена очень сходственны... но ничего, это *можно поправить*.

А тетушка подумала:—нѣтъ, врите, теперь вамъ ужъ не поправить: Катѣ ужъ вымолено,—и разорвала бумажку на мелкія частички.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главное дѣло, боялись: какъ дядюшкѣ сказать? Онъ былъ такой человекъ, что если расходится, то его мудро унять. Къ тому же, онъ Катю меньше всѣхъ любилъ, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька,—ей онъ всѣхъ больше и обѣщалъ.

Думала-думала тетушка и видитъ, что однимъ умомъ ей этой бѣды *не* обдумать,—зоветъ зятя-живописца на совѣтъ и все ему во всѣхъ подробностяхъ открыла, а потомъ проситъ:

— Ты, говоритъ,—хотя невѣрующій, однако, могутъ и въ тебѣ быть какія-нибудь чувства,—пожалуйста пожалѣй ты Катю, пособи мнѣ скрыть ея дѣвичій грѣхъ.

А живописецъ вдругъ лобъ нахмурилъ и строго говоритъ:

— Извините, пожалуйста, — вы хотя моей жёнѣ мать. однако, во-первыхъ, я этого терпѣть не люблю, чтобы меня безвѣрнымъ считали, а во-вторыхъ, я не понимаю—какой же тутъ причитаеете Катѣ грѣхъ, если объ ней такъ Иванъ Яковлевичъ столько времени просилъ? Я къ Катечкѣ всѣ братскія чувства имѣю, и за нее заступлюсь, потому что она тутъ ни въ чемъ не виновата.

Тетушка пальцы кусаетъ и плачетъ, а сама говоритъ:

— Ну... ужъ какъ ни въ чемъ?

— Разумѣется, ни въ чемъ. Это вашъ чудотворецъ все напуталъ, съ него и взыскивайте.

— Какое же съ него взысканіе! Онъ праведникъ.

— Ну, а если праведникъ, такъ и молчите. Пришлите мнѣ съ Катеею три бутылки шампанскаго вина.

Тетушка переспрашиваетъ:—что такое?

А онъ опять отвѣчаетъ: — Три бутылки шампанскаго,— одну ко мнѣ сейчасъ въ мои комнаты, а двѣ послѣ, куда прикажу, но только, чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрѣла на него и только головой покивала:

— Богъ съ тобою, говоритъ:—я думала, что ты только безъ одной вѣры, а ты святые лики изображасшь, а самъ безъ всѣхъ чувствъ оказываешься... Оттого я твоимъ иконамъ и не могу поклоняться.

А онъ отвѣчаетъ:

— Штъ, вы насчетъ вѣры оставьте: это вы, кажется, сомнѣваетесь и все по естеству думаете, будто тутъ собственная Катина причина есть, а я крѣпко вѣрю, что во всемъ этомъ одинъ Иванъ Яковлевичъ причинень; а чувства мои вы увидите, когда мнѣ съ Катеею въ мою мастерскую шампанское пришлете.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино съ самой Катечкой. Та взонила съ подносомъ, вся въ слезахъ, а онъ вскочилъ, схватилъ ее за обѣ ручки и самъ заплакалъ.

— Скорблю, говоритъ, — голубочка моя, что съ тобою случилось, однако, дремать съ этимъ некогда,—подавай мнѣ скорѣе наружу всѣ твои тайности.

Дѣвица ему открылась какъ спалила, — а онъ взять да ее у себя въ мастерской на ключъ и заперъ.

Тетушка встрѣчаетъ зятя съ заплаканными глазами и молчитъ. А онъ и ее обнялъ, поцѣловалъ и говоритъ:

— Ну не бойтесь, не плачьте. Авось Богъ поможетъ.

— Скажи же мнѣ, — шепчетъ тетушка: — кто всему виновать?

А живописецъ ей ласково пальцемъ погрозилъ и говоритъ:

— Вотъ это ужъ не хорошо: сами вы меня постоянно невѣриемъ попрекали, а теперь, когда вѣрѣ вашей дано испытаніе, я вижу, что вы сами нимало не вѣрите. Неужто вамъ не ясно, что виноватыхъ нѣтъ, а просто чудотворецъ маленькую ошибку сдѣлалъ.

— А гдѣ же моя бѣдная Катечка?

— Я ее страшнымъ художническимъ заклятьемъ заглялъ, — она, какъ кладъ отъ аминя, и разышалась.

А самъ ключъ тецѣ показывается.

Тетушка догадалась, что онъ дѣвушку отъ перваго отцова гнѣва укрылъ, и обняла его.

Шепчетъ:

— Прости меня, — въ тебѣ и въ моихъ чувства есть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пришелъ дядя, по обычаю чаю напился и говоритъ:

— Ну, давай читать часословъ въ пятьдесятъ два листа?

Съли. А доманинѣ всѣ двери вокругъ нихъ затворили и на щипочкахъ ходятъ. Тетушка же то отойдетъ отъ дверей, то опять подойдетъ, — все подслушиваетъ, и все крепится.

Наконецъ, какъ тамъ что-то звякнетъ... Она поотбѣжала и спряталась.

— Объявилъ, — говоритъ, — объявилъ тайну! Теперь начнется адское представленіе.

И точно: вразъ дверь растворилась, и дядя кричитъ:

— Шубу мнѣ и большую палку!

Живописецъ его назадъ за руку и говоритъ:

— Что ты? Куда это?

Дядя говоритъ:

— Я въ сумасшедшій домъ поѣду чудотворца биты!

Тетушка за другими дверями застонала:



— Бѣгите, — говоритъ, — скорѣе въ сумасшедшій домъ, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И дѣйствительно, дядя бы его непременно избилъ, но зять-живописецъ страхомъ вѣры своей и этого удержалъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сталъ зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

— Ничего, — говоритъ, — той своя доля, а я Корейшу бить хочу. Послѣ пусть меня судить.

— Да я тебя, — говоритъ, — не судомъ стращаю, а ты посуди: какой вредъ Иванъ Яковлевичъ Ольгѣ можетъ сдѣлать. Вѣдь это ужасъ, чѣмъ ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

— Какой же, — говоритъ, — вредъ онъ можетъ сдѣлать?

— А какъ разъ такой самый, какой вредъ онъ сдѣлалъ Катечкѣ.

Дядя поглядѣлъ и отвѣчаетъ:

— Полно вздоръ городить! Развѣ онъ это можетъ?

А живописецъ отвѣчаетъ:

— Ну, ежели ты, какъ я вижу, — не вѣрующій, то дѣлай, какъ знаешь, только потомъ не туки и бѣдныхъ дѣвушекъ не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащилъ назадъ въ комнату и началъ уговаривать.

— Лучше, — говоритъ, — по-моему, чудотворца въ сторону, а взять это дѣло и домашними средствами поправить.

Старикъ согласился, только самъ не зналъ, какъ именно поправить, а зять-живописецъ и тутъ помогъ — говоритъ:

— Хорошія мысли надо искать не во гнѣвѣ, а въ радости.

— Какое, — отвѣчаетъ, — теперь, братецъ, веселіе при такомъ случаѣ?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты ихъ со мною не выпьешь, я тебѣ ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, какъ я характеренъ.

Старикъ на него посмотрѣлъ и говоритъ: — «подводи, подводи! Что такое дальше будетъ?» А впрочемъ согласился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Живописецъ живо скомандовалъ и назадъ пришелъ, а за нимъ идетъ его мастеръ, молодой художникъ, съ подносомъ, и несетъ двѣ бутылки съ бокалами.

Какъ вошли, такъ живописецъ за собою двери заперъ и ключъ въ карманъ положилъ. Дядя посмотрѣлъ и все понялъ, а зять художнику кивнулъ, — тотъ взялъ и сталъ въ смирную просьбу.

— Виноватъ, — простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашиваетъ:

— Бить его можно?

Зять говоритъ:

— Можпо, да не надобно.

— Ну, такъ пусть онъ передо мною, по крайности, на колѣна станетъ.

Зять тому шепнулъ:

— Ну, стань за любимую дѣвушку на колѣна передъ батькою.

Тотъ сталъ.

Старикъ и заплакалъ.

— Очень, — говоритъ, — любинь ес?

— Люблю.

— Ну, цѣлуй меня.

Такъ Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это въ благополучной тайности, и къ младшей сестрѣ женихи пошли, потому что видятъ — дѣвцы надежныя.

ПУГАЛО.

«У страха большіе глаза».

Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мое дѣтство прошло въ Орлѣ. Мы жили въ домѣ Нѣмчинова, гдѣ-то недалеко отъ «маленькаго собора». Теперь я не могу разобрать, гдѣ именно стоялъ этотъ высокій, деревянный домъ, но помню, что изъ его сада былъ просторный видъ за широкій и глубокій оврагъ, съ обрывистыми краями, прорѣзанными пластами красной глины. За оврагомъ разстилался большой выгонъ, на которомъ стояли казенные магазины, а возлѣ нихъ дѣломъ всегда учились солдаты. Я всякій день смотрѣлъ, какъ ихъ учили и какъ ихъ били. Тогда это было въ употребленіи, но я никакъ не могъ къ этому привыкнуть, и всегда о нихъ плакалъ. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарѣлая московская солдатка — Марина Борисовна, уводила меня гулять въ городской садъ. Здѣсь мы садились надъ мелководной Окой и глядѣли, какъ въ ней купались и играли маленькія дѣти, свободѣ которыхъ я тогда очень завидовалъ.

Главная выгода ихъ привольнаго положенія въ моихъ глазахъ состояла въ томъ, что они не имѣли на себѣ ни обуви, ни бѣлья, такъ какъ рубашонки ихъ были сняты и воротъ ихъ съ рукавами связаны. Въ такомъ приспособленіи рубашки получали видъ небольшихъ мѣшковъ, и ребяташки, ставя ихъ противъ теченія, налавливали туда кро-

хотную серебристую рыбку. Она такъ мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы ее варить и ѣсть печенною.

Я никогда не имѣлъ отваги узнать ея вкусъ, но ловля ея, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мнѣ верхомъ счастья, какимъ мальчика моихъ тогдашнихъ лѣтъ могла утѣшить свобода.

Няня, впрочемъ, знала хорошіе доводы, что мнѣ такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались въ томъ, что я — дитя благородныхъ родителей и отца моего всѣ въ городѣ знаютъ.

— Другое дѣло, — говорила няня: — если-бы это было въ деревнѣ. Тамъ, при простыхъ, сѣрыхъ мужикахъ, и мнѣ, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чѣмъ въ томъ же свободномъ родѣ.

Кажется, отъ этихъ именно сдерживающихъ разсужденій меня стало сильно и томительно манить въ деревню. и восторгъ мой не зналъ предѣловъ, когда родители мои купили небольшое имѣніе въ Кромскомъ уѣздѣ. Тѣмъ же лѣтомъ мы переѣхали изъ большого городского дома въ очень уютный, но маленькій деревенскій домъ съ балкономъ, подъ соломенною крышею. Лѣсъ въ Кромскомъ уѣздѣ и тогда былъ дорогъ и рѣдокъ. Это мѣстность степная и хлѣбородная и притомъ она хорошо орошена маленькими, но чистыми рѣчками.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ деревнѣ у меня сразу же завелись обширныя и любопытныя знакомства съ крестьянами. Пока отецъ и мать были усиленно заняты устройствомъ своего хозяйства, я не терялъ времени, чтобы самымъ тѣснымъ образомъ сблизиться съ взрослыми парнями и съ ребятами, которые пасли лошадей «на кулигахъ» *). Сильнѣе всѣхъ моими привязанностями овладѣлъ впрочемъ старый мельникъ, дѣдушка Пля, — совершенно сѣдой старикъ съ преобладающими черными усами. Онъ болѣе всѣхъ другихъ былъ доступенъ для разговоровъ, потому что на работы не отлучался, а или похаживалъ съ навозными вилами по плотинѣ, или сидѣлъ

*) *Кулига* — мѣсто, гдѣ срублены и выжжены деревья, чищоба, пережога.

надъ дрожащею скрынью и задумчиво слушалъ, ровпо ли стучать мельничныя колеса или не сосеть ли гдѣ-нибудь подъ скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не дѣлать,—онъ заготовлялъ на всякій случай кленовыя кулачья или цѣвки для шестерни. Но во всѣхъ описанныхъ положеніяхъ онъ легко отклонялся отъ дѣла и вступалъ охотно въ бесѣды, которыя онъ велъ отрывками, безъ всякой связи, но любилъ систему намековъ и при этомъ подсмѣивался не то самъ надъ собою, не то надъ слушателями.

По должности мельника дѣдушка Илья имѣлъ довольно близкое соотношеніе къ водяному, который завѣдывалъ нашими прудами, верхнимъ и нижнимъ, и двумя болотами. Свою главную штабъ-квартиру этотъ демонъ имѣлъ подъ холостою скрынью на нашей мельницѣ.

Дѣдушка Илья объ немъ все зналъ и говорилъ:

— Онъ меня любитъ. Онъ, если когда и сердитъ домой придетъ за какіе-нибудь безпорядки, — онъ меня не обижаетъ. Лякъ тутъ другой на моемъ мѣстѣ, на мѣшкахъ,— онъ такъ и сорветъ съ мѣшка и выброситъ, а меня ни въ жизнь не тронетъ.

Всѣ молодшіе люди подтверждали мнѣ, что между дѣдушкою Ильею и «водянымъ дѣдкой», дѣйствительно, существовали описанныя отношенія, но только они держались вовсе не на томъ, что водяной Илью любилъ, а на томъ, что дѣдушка Илья, какъ настоящій, заправскій мельникъ, зналъ настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и всѣ его чертенята повиновались такъ же безпрекословно, какъ ужи и жабы, жившіе подъ скрынями и на плотнѣ.

Съ ребятами я ловилъ пескарей и гольцовъ, которыхъ было великое множество въ нашей узенькой, но чистой рѣчкѣ Гостомлѣ; но, по серьезности моего характера, болѣе держался общества дѣдушки Ильи, опытный умъ котораго открывалъ мнѣ полный таинственной прелести міръ, который былъ совсѣмъ мнѣ, городскому мальчику, неизвѣстенъ. Отъ Ильи я узналъ и про домового, который спалъ на каткѣ, и про водяного, который имѣлъ прекрасное и важное помѣщеніе подъ колесами, и про кикимору, которая была такъ застычива и непостоянна, что пряталась отъ всякаго нескромнаго взгляда въ разныхъ пыльныхъ замѣтахъ,—то въ ригѣ, то въ овинѣ, то на толчкѣ, гдѣ осенью

Толкли замашки. Меньше всѣхъ дѣдушка зналъ про лѣшаго, потому что этотъ жилъ гдѣ-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходилъ къ намъ въ густой ракитникъ, чтобы сдѣлать себѣ новую ракитовую дудку и поиграть на ней въ тѣни у сажалокъ. Впрочемъ, дѣдушка Илья во всю свою богатую приключеніями жизнь видѣлъ лѣшаго лицомъ къ лицу всего только одинъ разъ, и то на Николинъ день, когда у насъ бывалъ храмовой праздникъ. Лѣшій пошелъ къ Ильѣ, прикинувшись совсѣмъ смиреннымъ мужичкомъ, и попросилъ понюхать табачку. А когда дѣдушка сказалъ ему: «чортъ съ тобой — понюхай!» и при этомъ открылъ тавлинку, — то лѣшій не могъ болѣе соблюсти хорошаго поведенія и сошкольничалъ: онъ такъ поддалъ ладонью подъ табакерку, что запорошилъ доброму мельнику всѣ глаза.

Всѣ эти живыя и занимательныя исторіи имѣли тогда для меня полную вѣроятность, и ихъ густое, образное содержаніе до такой степени переполняло мою фантазію, что я самъ былъ чуть ли не духовидцемъ. По крайней мѣрѣ, когда я однажды заглянулъ съ большимъ рискомъ въ толчейный амбаръ, то глазъ мой обнаружилъ такую остроту и тонкость, что видѣлъ сидѣвшую тамъ въ пыли кикимору. Она была неумытая, въ пыльномъ повойникѣ и съ золотушными глазами. А когда я, испуганный этимъ видѣніемъ, бросился безъ памяти бѣжать оттуда, то другое мое чувство — слухъ — обнаружило присутствіе лѣшаго. Я не могу поручиться, гдѣ именно онъ сидѣлъ, — вѣроятно, на какой-нибудь высокой ракитѣ, но только, когда я бѣжалъ отъ кикиморы, лѣшій во всю мочь засвисталъ на своей зеленой дудкѣ, и такъ сильно прихватилъ меня къ землѣ за ногу, что у меня оторвался каблукъ отъ ботинки.

Едва переводя духъ, я сообщалъ все это домашнимъ и за свое чистосердечіе былъ посаженъ въ комнатѣ читать священную исторію, пока посланный босой мальчикъ сходилъ въ сосѣднее село къ солдату, который могъ исправить поврежденіе, сдѣланное лѣшинымъ въ моей ботинкѣ. Но и самое чтеніе священной исторіи не защищало уже меня отъ вѣры въ тѣ сверхъестественныя существа, съ которыми я, можно сказать, сживался при посредствѣ дѣдушки Ильи. Я хорошо зналъ и любилъ священную исторію, — я и до сихъ поръ готовъ ее перечитывать, а все-таки

ребячий милый міръ тѣхъ сказочныхъ существъ, о которыхъ наговорилъ мнѣ дѣдушка Илья, казался мнѣ необходимымъ. Лѣсные родники осиротѣли бы, если бы отъ нихъ были отрѣшены гениі, приставленные къ нимъ народною фантазіей.

Въ числѣ неприятныхъ послѣдствій отъ лѣшовой дудки было еще то, что дѣдушка Илья, за прочитанные имъ для меня курсы демонологіи, получилъ отъ матушки выговоръ и нѣкоторое время меня дичился и будто не хотѣлъ продолжать моего образованія. Онъ даже притворялся, будто гонитъ меня отъ себя трочь.

— Пошелъ отъ меня прочь, иди къ своей нянькѣ,—говорилъ онъ, заворачивая меня къ себѣ спиною и поддавая широкой, мозолистой ладонью подъ сидѣнье.

Но я уже могъ гордиться своимъ возрастомъ и считать подобное обращеніе со мною несовмѣстнымъ. Мнѣ было восемь лѣтъ, и къ нянькѣ своей мнѣ тогда идти было не зачѣмъ. Я это и даль почувствовать Ильѣ, принося ему полюскательную чашку вишенъ изъ-подъ слитой наливки.

Дѣдушка Илья любилъ эти фрукты, — принялъ ихъ, смягчился, погладилъ меня своей мозольной рукой по головѣ, и между нами снова возстановились самыя короткія и самыя добрыя отношенія.

— Ты вотъ что,—говорилъ мнѣ дѣдушка Илья:—ты мужика завсегда больше всѣхъ почитай и люби слушать, но того, что отъ мужика услышишь, не всѣмъ сказывай. А не то—прогону.

Съ тѣхъ поръ я сталъ танть все, чтѣ слышалъ отъ мельника, и зато узналъ такъ много интереснаго, что началъ бояться не только ночью, когда всѣ домовые, лѣшіе и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже сталъ бояться и днемъ. Такой страхъ овладѣлъ мною потому, что домъ нашъ и весь нашъ край, оказалось, находился во власти одного престрашнаго разбойника и кровожаднаго чародѣя, который назывался Селиванъ. Онъ жилъ отъ насъ всего въ шести верстахъ «на розновилѣ», т. е. тамъ, гдѣ большой почтовый трактъ развѣтвлялся на два: одна, новая дорога, шла на Кіевъ, а другая, старая, съ дуилистыми ракинтами «Екатерининскаго насажденія», вела на Фатежъ. Эта теперь уже брошена и лежитъ взапустѣ.

Въ верстѣ за этимъ розновильемъ былъ хорошій, дубовый лѣсъ, а при лѣсѣ — самый дрянной, совершенно раскритый и полуобвалившійся постоялый дворъ, въ которомъ, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко вѣрить, потому что дворъ не представлялъ никакихъ удобствъ для постоя, и потому, что отсюда было слишкомъ близко до города Кромъ, гдѣ и въ тѣ полудикія времена можно было надѣяться найти теплую горницу, самоваръ и калачи второй руки. Вотъ въ этомъ - то ужасномъ дворѣ, гдѣ *никто* никогда не останавливался, и жилъ «пустой дворникъ» Селиванъ, ужасный человекъ, съ которымъ никто не радъ былъ встрѣтиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Повѣсть «пустого дворника» Селивана, по словамъ дѣдушки Ильи, была слѣдующая. Селиванъ былъ кромской мѣщанинъ; родители его рано умерли, а онъ жилъ въ мальчикахъ у калачника и продавалъ калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчикъ онъ былъ хорошій, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что съ Селиваномъ требовалась осторожность, потому что у него на лицѣ была красная мѣтнка, какъ огонь, — а это никогда даромъ не ставится. Были такіе люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Богъ плута мѣтнить». Хозяинъ калачникъ очень хвалилъ Селивана за его усердіе и вѣрность, но всѣ другіе люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразуміе все-таки заставляетъ его остерегаться и много ему не довѣрять, — потому что «Богъ плута мѣтнить». Если мѣтка на его лицѣ положена, то это именно для того, чтобы всѣ слишкомъ довѣрчивые люди его остерегались. Калачникъ не хотѣлъ отстать отъ людей умныхъ, но Селиванъ былъ очень хорошій работникъ. Калачи онъ продавалъ исправно и всякій вечеръ аккуратно высыпалъ хозяину изъ большого кожанаго кошелька всѣ пятаки и гривны, сколько выручилъ отъ проѣзжавшихъ мужичковъ. Однако, мѣтка лежала на немъ не даромъ, а до случая (это уже всегда такъ бываетъ). Пришелъ въ Кромъ изъ Орла «отслужившійся палачъ», по имени Борька, и сказано было ему: «ты былъ палачъ, Борька, а теперь тебѣ у насъ жить бу-

детъ горько», — и всё, насколько кто могъ, старались, чтобы такія слова не остались для оставшаго палача вотще. А когда палачъ Борька пришелъ изъ Орла въ Кромь, съ нимъ уже была дочь, дѣвочка лѣтъ пятнадцати, которая родилась въ острогѣ, — хотя многіе думали, что ей бы лучше совсѣмъ не родиться.

Приняли они въ Кромь жить по припискѣ. Это теперь непонятно, но тогда бывало такъ, что отслужившіеся палачамъ дозволялось приписываться къ какимъ-нибудь городишкамъ, и дѣлалось это просто, ни у кого на то желанія и согласія не спрашивая. Такъ случилось и съ Борькой: велѣлъ какой-то губернаторъ принести этого стараго палача въ Кромахъ, — его и приписали, а онъ пришелъ сюда жить и привелъ съ собою дочку. Но только въ Кромахъ палачъ, разумеется, ни для кого не былъ желаннымъ гостемъ, а, напротивъ, всё имъ пренебрегали, какъ люди чистые, и ни его, ни его дѣвочку рѣшительно никто не захотѣлъ пустить къ себѣ на дворъ. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палачъ въ одинъ домъ, потомъ въ другой и не сталъ болѣе докучать. Онъ видѣлъ, что не возбуждаетъ ни въ комъ ни малѣйшаго состраданія, и зналъ, что вполнѣ этого заслужилъ.

«Но дитя! — думалъ онъ. — Дитя не виновато въ моихъ грѣхахъ, — кто-нибудь пожалѣетъ дитя».

И Борька опять пошелъ стучаться изъ двора во дворъ, прося взять, если не его, то только дѣвочку... Онъ заклиналъ, что никогда даже не придетъ, чтобы навѣстить дочь.

Но и эта просьба была такъ же напрасна.

Кому охота съ палачомъ знаться?

И вотъ, обойди городишко, стали эти злополучные припелыцы опять проситься въ острогъ. Тамъ хоть можно было обогрѣться отъ осенней мокроты и стужи. Но и въ острогъ ихъ не взяли, потому что срокъ ихъ острожной неволи миновалъ, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть подъ любымъ заборомъ, или въ любой канавѣ.

Милостыню палачу съ дочерью иногда подавали не для нихъ, конечно, а Христа ради, но въ домъ никуда не пускали. Старикъ съ дочерью не имѣли пріюта и почевали

то гдѣ-нибудь подѣ кручею, въ глипоконныхъ ямахъ, то въ опустѣлыхъ сторожевыхъ шалахахъ на огородахъ, по долинь. Суровую долю ихъ дѣлила тощая собака, которая пришла съ ними изъ Орла.

Это былъ большой, лохматый песъ, на которомъ вся шерсть завойлочилась въ войлокъ. Чѣмъ она питалась при своихъ нищихъ-хозяевахъ—это никому не было извѣстно, но, наконецъ, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «безчеревная», то-есть у нея были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «въ серединѣ» у нея ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дѣдушка Илья рассказывалъ мнѣ, какъ этого можно достигать «самымъ легкимъ манеромъ». Любую собаку, пока она щенкомъ, стѣтъ только разъ напоить жидко расплавленнымъ оловомъ или свинцомъ, и она сдѣлается *безъ черева* и можетъ не ѣсть. Но, разумѣется, при этомъ необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палачъ, очевидно, зналъ этакое слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, такъ и слѣдовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большимъ несчастьемъ для нищихъ, такъ какъ дѣвочка спала вмѣстѣ съ собакою, и та удѣляла ребенку часть теплоты, которую имѣла въ своей шерсти. Однако, для такихъ пустяковъ, разумѣется, нельзя было потворствовать волшебствамъ, и всѣ были того мнѣнія, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунамъ не удастся морочить правовѣрныхъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Послѣ уничтоженія собаки, дѣвочку согрѣвалъ въ шалахахъ самъ палачъ, но онъ уже былъ старъ и, къ его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. Въ одну морозную ночь дитя ощутило, что отецъ ея застылъ болѣе, чѣмъ она сама, и ей сдѣлалось такъ страшно, что она отъ него отодвинулась и даже отъ ужаса потеряла сознание. До утра пребыла она въ объятіяхъ смерти. Когда стало свѣтать, и люди, шедшіе къ заутренѣ, заглянули изъ любопытства въ шалахъ, то они увидѣли отца и дочь зачоченѣвшими. Дѣвочку кое-какъ отогрѣли, и когда она увидала у отца странно остолбенѣ-

лые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, въ чемъ дѣло, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищемъ, потому что онъ жить скверно и умеръ безъ покаянія, а про его дѣвочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь мѣсяць, но когда про нее черезъ мѣсяць вспомнили, — ее уже негдѣ было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь уѣзжала въ другой городъ, или пошла просить милостыню по деревнямъ. Гораздо любопытнѣе было то, что съ исчезновеніемъ сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чѣмъ хватились дѣвочки, было замѣчено, что безъ вѣсти пропалъ куда-то калачникъ Селиванъ.

Онъ пропалъ совершенно неожиданно, и притомъ такъ необдуманно, какъ не дѣлалъ еще до него никакой другой бѣглець. Селиванъ рѣшительно ничего ни у кого не унесъ, и даже всѣ данные ему для продажи калачи лежали на его лоткѣ, и тутъ же уцѣлѣли всѣ деньги, которые онъ выручилъ за то, что продалъ; но самъ онъ домой не возвращался.

И оба эти сироты считались безъ вѣсти пропавшими цѣлыхъ три года.

Вдругъ, однажды, пріѣзжаетъ съ ярмарки купецъ, которому принадлежалъ давно опустѣлый ностоймый дворъ «на розновильѣ» и говоритъ, что съ нимъ было несчастье: ѣхалъ онъ, да плохо направилъ на гать свою лошадь, и его возъ придавилъ, но его спасъ неизвѣстный бродяжка.

Бродяжка этотъ былъ имъ узнавъ, и оказалось, что это не кто иной, какъ Селиванъ.

Спасенный Селиваномъ купецъ былъ не изъ такихъ людей, которые совсѣмъ нечувствительны къ оказанной имъ услугѣ; чтобы не подлежать на страшномъ судѣ отвѣту за неблагодарность, онъ захотѣлъ сдѣлать добро бродягѣ.

— Я долженъ тебя осчастливить, — сказалъ онъ Селивану: — у меня есть пустой дворъ на розновильѣ, иди туда и сиди въ немъ дворникомъ и продавай овесъ и сѣно, а мнѣ плати всего сто рублей въ годъ аренды.

Селиванъ зналъ, что на шестой верстѣ отъ городка, по заустѣвшей дорогѣ, постоялому двору не мѣсто, и, въ немъ спяючи, никакого заѣзда ждать невозможно; но, однако,

какъ это былъ еще первый случай, когда ему предлагали имѣть свой уголь, то онъ согласился.

Кунецъ пустилъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Селиванъ пріѣхалъ во дворъ съ маленькой ручной, одноколесной навозницей, въ которой у него мѣстились пожитки, а на нихъ лежала, закинувъ назадъ голову, большая женщина въ жалкихъ лохмотьяхъ.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Онъ отвѣчалъ:

— Это моя жена.

— Изъ какихъ она мѣсть родомъ?

Селиванъ кротко отвѣчалъ:

— Изъ Божьихъ.

— Чѣмъ она больна?

— Ногами недужна.

— А отчего она такъ недужаетъ?

Селиванъ, насунясь, буркнулъ:

— Отъ земного холода.

Больше онъ не сталъ говорить ни слова, поднялъ на руки свою немощную калѣку и понесъ ее въ избу.

Словоохотливости и вообще пріятной общительности въ Селиванѣ не было; людей онъ избѣгалъ и даже какъ будто боялся, и въ городѣ не показывался, а жены его совсѣмъ никто не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ ее сюда привезъ въ ручной навозной тележкѣ. Но съ тѣхъ поръ, когда это случилось, уже прошло много лѣтъ,—молодые люди тогдашняго вѣка уже успѣли состариться, а дворъ въ розновильѣ еще болѣе обветшалъ и развалился, но Селиванъ и его убогая калѣка все жили здѣсь и, къ общему удивленію, платили за дворъ наслѣдникамъ купца какую-то плату.

Откуда же этотъ чудакъ выручалъ все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что слѣдовало платить за совершенно разрушенный дворъ? Всѣ знали, что сюда *никогда* не заглядывалъ *ни одинъ* проѣзжающій и не кормилъ здѣсь своихъ лошадей ни одинъ обозъ, а между тѣмъ Селиванъ хотя жилъ бѣдственно, но все еще не умиралъ съ голода.

Вотъ въ этомъ-то и былъ вопросъ, который, впрочемъ,

не очень долго томилъ окрестное крестьянство. Скоро всѣ поняли, что Селиванъ знался съ нечистою силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодныя и для обыкновенныхъ людей даже невозможныя дѣлишки.

Извѣстно, что дьяволъ и его помощники имѣютъ большую охоту дѣлать людямъ всякое зло; но особенно имъ нравится вынимать изъ людей души такъ неожиданно, чтобы они не успѣли очистить себя покаяніемъ. Кто изъ людей помогаетъ такимъ пронкамъ, тому вся нечистая сила, то-есть всѣ лѣшіе, водяные и кикиморы, охотно дѣлаютъ разныя одолженія, хотя, впрочемъ, на очень тяжелыхъ условіяхъ. Помогающій чертямъ долженъ самъ за ними послѣдовать въ адъ, — рано или поздно, — но непременно. Селиванъ находился именно на этомъ роковомъ положеніи. Чтобы кое-какъ жить въ своемъ разоренномъ домишкѣ, онъ давно продалъ свою душу нѣсколькимъ чертямъ сразу, а эти съ тѣхъ поръ начали загонять къ нему на дворъ путниковъ самыми усиленными мѣрами. Назадъ же отъ Селивана не выѣзжалъ никто. Дѣлалось это такимъ образомъ, что лѣшіе, сговорясь съ кикиморами, вдругъ передъ ночью поднимали вьюги и мятелы, при которыхъ дорожный человѣкъ растеривался и сившиль спрятаться отъ разгулявшейся стихіи куда попало. Селиванъ тогда сейчасъ же и выкидывалъ хитрость: онъ выставлялъ огонь на свое окошко, и на этотъ свѣтъ къ нему попадали купцы съ толстыми черезами, дворяне съ потайными шкатулками и поны съ мѣховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назадъ изъ Селивановыхъ воротъ уже не было поворота ни одному изъ гѣхъ, кто пріѣхалъ. Куда ихъ дѣвалъ Селиванъ, — про го никому не было извѣстно.

Дѣдушка Илья, договорившись до этого, только проводилъ по воздуху рукой и внушительно произносилъ:

— Сова летитъ, лунь плыветъ — ничего не видно: буря, мятель и... ночь матка — все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнѣніи дѣдушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значитъ «сова летитъ и лунь плыветъ», а понималъ я только одно, что Селиванъ — это какое-то общее пугало, съ которымъ чрезвычайно опасно встрѣтиться... Не дай Богъ этого никому на свѣтъ.

И, впрочемъ, старался провѣрить страшные рассказы

про Селивана и отъ другихъ людей, но всё въ одно слово говорили то же самое. Всё смотрѣли на Селивана, какъ на страшное пугало, и всё такъ же, какъ дѣвушка Илья, строго заказывали мнѣ, чтобы я «дома, въ хоромахъ, никому про Селивана не сказывалъ». По совѣту мельника, и эту мужичью заповѣдь исполнялъ до особаго страшнаго случая, когда я самъ попался въ лапы Селивану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Зимою, когда въ домѣ встали двойныя рамы, я не могъ попрежнему часто видѣться съ дѣвучкой Ильей и съ другими мужиками. Меня берегли отъ морозовъ, а они всё остались работать на колоду, причемъ съ однимъ изъ нихъ произошла непріятная исторія, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

Въ самъ началъ зимы, племянникъ Ильи, мужикъ Николай, пошелъ на свои имения въ Кромь, въ гости, и не возвратился, а черезъ двѣ недѣли его нашли на опушкѣ у Селиванова лѣса. Николай сидѣлъ на инѣ, опершись бороною на палочку и, повидимому, отдыхалъ послѣ такой сильной усталости, что не замѣтилъ, какъ метель замела его выше колѣнъ снѣгомъ, а лисцы обкусали ему носъ и щеки.

Очевидно, Николай сошелъ съ дороги, усталъ и замерзъ; но всё знали, что это вышло не просто и не безъ Селивановой вины. Я узналъ объ этомъ черезъ дѣвучекъ, которыхъ было у насъ въ комнатахъ очень много и всё онѣ, большею частію, назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потомъ еще Аннушка, по прозванію «Шибасенокъ». Эта послѣдняя была у насъ въ своемъ родѣ фельетонистомъ и репортеромъ. Она по своему живому и рѣзвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двухъ дѣвучекъ— Неонилу да Настю, которыя числились на нѣкоторомъ особомъ положеніи, потому что получили особенное воспитаніе въ тогдашнемъ модномъ орловскомъ магазинѣ мадамъ Морозовой, да еще были въ домѣ три побѣгущки-дѣвочки— Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной изъ нихъ было Матрена, другой Ранса, а какъ звали по-настоящему Оську—

этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще въ малолѣтствѣ, и потому къ нимъ всё относились довольно презрительно. Онѣ еще бѣгали босикомъ и не имѣли права садиться на стульяхъ, а присаживались внизу, на подножныхъ скамейкахъ. По должности онѣ исполняли разныя унижительныя порученія, какъ-то: чистили тазы, выносили умывальныя лаханки, провожали гулять комнатныхъ собачекъ и бѣгали скороходами на посылкахъ за кухонными людьми и на деревню. Въ теперешнихъ помѣщичьихъ домахъ уже нигдѣ нѣтъ такого излишняго многолюдства, но тогда оно казалось необходимымъ.

Всѣ наши дѣвы и дѣвчонки, разумѣется, много знали о страшномъ Селиванѣ, вблизи двора котораго замерзъ мужикъ Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану всѣ его старыя продѣлки, о которыхъ я прежде и не зналъ. Теперь обнаружилось, что кучеръ Константинъ, ѣдучи одинъ разъ въ городъ за говядиной, слышалъ, какъ изъ окна Селивановой избы неслись жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчикъ рѣжетъ».

Дѣвушка, Аннушка больная, объясняла это такъ, что Селиванъ забралъ къ себѣ, во время метели (по-орловски — *куры*), цѣлый господскій возокъ, съ цѣлымъ дворянскимъ семействомъ, и медленно отрѣзалъ дворянскимъ дѣтямъ пальчикъ за пальчикомъ. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потомъ башмачнику Ивану приключилось что-то еще болѣе страшное и, вдобавокъ, необъяснимое. Разъ, когда его послали въ городъ за сапожнымъ товаромъ, и онъ, позамѣшкавшись, возвращался домой темнымъ вечеромъ, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствіе для Селивана. Онъ сейчасъ же вставалъ и выходилъ на поле, чтобы вѣяться во мглѣ вмѣстѣ съ Ягою, лѣшыми и кикиморами. И башмачникъ это зналъ и остерегался, но не остерегся. Селиванъ выскочилъ у него передъ самымъ носомъ и загородилъ ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачникъ, къ его счастью, отъ природы былъ смѣль и очень находчивъ. Онъ подошелъ къ Селивану, будто съ ласкою, и проговорилъ: «Здравствуй, пожалуйста», а въ это самое время изъ рукава кольнулъ его самымъ большимъ и острымъ шиломъ прямо въ животъ. Это единственное мѣсто, въ которое

можно ранить колдуна на-смерть, но Селиванъ спасся тѣмъ, что немедленно обратился въ толстый верстовой столбъ, въ которомъ острый инструментъ банмачника застрялъ такъ крѣпко, что банмачникъ никакъ не могъ его вытащить и долженъ былъ разстаться съ шиломъ, между тѣмъ какъ оно ему было рѣшительно необходимо.

Этотъ послѣдній случай былъ даже обидною насмѣшкою надъ честными людьми и убѣдилъ всѣхъ, что Селиванъ, дѣйствительно, былъ не только великій злодѣй и лукавый колдунъ, но и нахаль, которому нельзя было давать спуска. Тогда его рѣшили проучить строго; но Селиванъ тоже не былъ промахъ и научился новой хитрости: онъ началъ «скидываться», то - есть, при малѣйшей опасности, даже просто при всякой встрѣчѣ, онъ сталъ измѣнять свой человѣческій видъ и у всѣхъ на глазахъ обращаться въ различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что, благодаря общему противъ него возбужденію, онъ и при такой ловкости все-таки немножко страдалъ, но искоренить его никакъ не удавалось, а борьба съ нимъ иногда даже принимала немножко смѣшной характеръ, что всѣхъ еще болѣе обижало и злило. Такъ, напримѣръ, послѣ того, когда банмачникъ изо всей силы прокололъ его шиломъ и Селиванъ спасся только тѣмъ, что успѣлъ скинуться верстовымъ столбомъ, нѣсколько человѣкъ видѣли это шило торчавшимъ въ настоящемъ верстовомъ столбѣ. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось и банмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиванъ же и послѣ этого ходилъ по лѣсу, какъ будто его даже совѣмъ и не кололи, и скидывался кабаномъ до такой степени истово, что ѣлъ дубовые жолуди съ удовольствіемъ, какъ будто такой фруктъ могъ приходиться ему по вкусу. Но чаще всего онъ вылѣзалъ подъ видомъ краснаго пѣтуха на свою черную, растрепанную крышу и кричалъ оттуда «ку-ка-реку!» Всѣ знали, что его, разумеется, занимало не пѣніе «ку-ка-реку», а онъ высматривалъ, не ѣдетъ ли кто-нибудь такой, противъ кого стоило бы подучить лѣснаго и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словомъ, окрестные люди такъ хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодѣю въ его сѣти, и даже порядкомъ местили

Селивану за его коварства. Одинъ разъ, когда онъ, скинувшись кабаномъ, встрѣтился съ кузнецомъ Савельемъ, который шелъ пѣшкомъ изъ Кромъ со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнецъ остался побѣдителемъ, благодаря тому, что у него, къ счастью, случилась въ рукахъ претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто онъ не желаетъ обращать на кузнеца ни малѣйшаго вниманія и, тяжело похрюкивая, чавкалъ жолуди; но кузнецъ проникъ острымъ умомъ его замысль, который состоялъ въ томъ, чтобы пропустить его мимо себя и потомъ напасть на него сзади, сбить съ ногъ и съѣсть вмѣсто жолудя. Кузнецъ рѣшился предупредить бѣду; онъ поднялъ высоко надъ головою свою дубину и такъ треснулъ ею кабана по храпѣ, что тотъ жалобно взвизгнулъ, упалъ и болѣе уже не поднимался. А когда кузнецъ послѣ этого началъ поспѣшно уходить, то Селиванъ опять принялъ на себя свой человѣческій видъ и долго смотрѣлъ на кузнеца, со своего крылечка,—очевидно, имѣя противъ него какое-то самое недружелюбное намѣреніе.

Послѣ этой ужасной встрѣчи, кузнеца даже была лихорадка, отъ которой онъ спасся единственно тѣмъ, что пустилъ по вѣтру за окно хинный порошокъ, который ему былъ присланъ изъ горницы для пріема.

Кузнецъ слылъ за человѣка очень разсудительнаго и зная, что хина и всякое другое аптечное лѣкарство противъ волшебства ничего сдѣлать не могутъ. Онъ оттерпѣлся, завязалъ на суровой ниткѣ узелокъ и бросилъ его гнить въ навозную кучу. Этимъ было все кончено, потому что какъ только узелокъ и нитка сгнили, такъ и сила Селивана должна была кончиться. И это такъ и сдѣлалось. Селиванъ послѣ этого случая въ свинью уже никогда болѣе не скидывался, или, по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ его никто рѣшительно не встрѣчалъ въ этомъ неопрятномъ видѣ.

Съ проказами же Селивана въ образѣ краснаго гѣтуха было еще удачѣе: на него ополчился косою мирошникъ Савка, преудалый парень, который дѣйствовалъ всѣхъ пред-смотрящихъ и ловчѣе.

Будучи посланъ разъ въ городъ на подторжье, онъ ѣхалъ верхомъ на очень лѣнливой и упрямой лошади. Зная такой нравъ своего коня, Савка взялъ съ собою, на всякій случай, потихоньку, хорошее березовое полѣно, которымъ надѣялся

запечатлѣть сувенирь въ бока своего меланхолическаго буцефала. Кое-что въ этомъ родѣ онъ и успѣлъ уже сдѣлать, и настолько переломить характеръ своего коня, что тотъ, потерявъ терпѣніе, сталъ понемножку припрыгивать.

Селиванъ, не ожидая, что Савка такъ хорошо вооруженъ, какъ разъ къ его прїѣзду выскочилъ пѣтухомъ на застрѣху и началъ вертѣться, глазѣть на все стороны да пѣть «ку-ка-реку!» Савка не сробѣлъ колдуна, а, напротивъ, сказалъ ему: «Э, братъ, врешь — не уйдешь», и съ этимъ, недолго думая, такъ ловко швырнулъ въ него своимъ полѣномъ, что тотъ даже не допѣлъ до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвымъ. По несчастію, онъ только упалъ не на улицу, а во дворъ, гдѣ ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человѣческій образъ. Онъ сдѣлался Селиваномъ и, выбѣжавъ, погнался за Савкою, имѣя въ рукѣ то же самое полѣно, которымъ его угостилъ Савка, когда онъ пѣлъ пѣтухомъ на крышѣ.

По рассказамъ Савки, Селиванъ въ этотъ разъ былъ такъ взбѣженъ, что Савкѣ могло придтись отъ него очень плохо; но Савка былъ парень сообразительный и отлично зналъ одну преполезную штуку. Онъ зналъ, что его лѣнивая лошадь сразу забываетъ о своей лѣни, если ее поворотить домой, къ яслямъ. Онъ это и сдѣлалъ. Какъ только Селиванъ, вооруженный полѣномъ, на Савку кинулся, — Савка вразъ повернулъ коня въ обратный путь и скрылся. Онъ прискакалъ домой, не имѣя на себѣ лица отъ страха, и рассказалъ о бывшей съ нимъ страшной исторіи только на другой день. И то слава Богу, что заговорилъ, а то боялся, какъ бы онъ не остался нѣмъ навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вмѣсто оробѣвшаго Савки былъ наряженъ другой, болѣе смѣлый посоль, который достигъ Кромъ и возвратился назадъ благополучно. Однако и этотъ, совершивъ путешествіе, говорилъ, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чѣмъ ѣхать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другіе: страхъ сталъ всеобщій; но зато со стороны всѣхъ вообще началось и за Селиваномъ всеобщее усиленное смотрѣніе. Гдѣ бы и чѣмъ бы онъ ни скидывался, его вездѣ постоянно обнаруживали и во всѣхъ видахъ

стремились пресѣчь его вредное существованіе. Являлся ли Селиванъ у своего двора овцою или теленкомъ, — его все равно узнавали и били, и ни въ какомъ видѣ ему не удавалось укрыться. Даже, когда онъ одинъ разъ выкатился на улицу въ видѣ новаго свѣже-высмоленнаго телѣжнаго колеса и легъ на солнцѣ сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкія части такъ, что и ступка, и снѣпы разлетѣлись въ разные стороны.

Обо всѣхъ этихъ происшествіяхъ, составлявшихъ героическую эпопею моего дѣтства, мною своевременно получались скорыя и самыя достовѣрныя свѣдѣнія. Быстроѣ известій много содѣйствовало то, что у насъ на мельницѣ всегда случалась отбѣнная заѣзжая публика, прѣзжавшая за помоломъ. Пока мельничные жернова мололи привезенныя ими хлѣбныя зерна, уста помольцевъ еще усерднѣе мололи всяческой вздоръ, а оттуда всѣ любопытныя исторіи приносились въ дѣвичью Моською и Роською, и потомъ, въ наилучшей редакціи, сообщались мнѣ, а я начиналъ о нихъ думать цѣлыя ночи и создавалъ презанимательныя положенія для себя и для Селивана, къ которому я, несмотря на все, что о немъ слышалъ, — питалъ въ глубинѣ моей души большое сердечное влеченіе. Я безповоротно вѣрилъ, что настанетъ часъ, когда мы съ Селиваномъ какъ-то необыкновенно встрѣтимся, — и даже полюбимъ другъ друга гораздо болѣе, чѣмъ я любилъ дѣдушку Илью, въ которомъ мнѣ не нравилось то, что у него одинъ, именно лѣвый, глазъ всегда немножко смѣялся.

Я никакъ не могъ долго вѣрить, что Селиванъ дѣлаетъ всѣ свои сверхъестественныя чудеса съ злымъ намѣреніемъ къ людямъ, и очень любилъ о немъ думать; и обыкновенно, чуть я начиналъ засыпать, онъ мнѣ снился тихимъ, добрымъ и даже обиженнымъ. Я его никогда еще не видалъ и не умѣлъ себѣ представить его лица по искаженнымъ описаніямъ разсказчиковъ, но глаза его я видѣлъ, чуть закрывалъ свои собственные. — Это были большіе глаза. совсѣмъ голубые и предобрые. И пока я спалъ, мы съ Селиваномъ были въ самомъ пріятномъ согласіи: у насъ съ нимъ открывались въ лѣсу разные секретныя норки, гдѣ у насъ было напратано много хлѣба, масла и теплыхъ дѣтскихъ тулупчиковъ, которые мы доставали, бѣгомъ по-

силы къ извѣстнымъ намъ избамъ по деревнямъ, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянулъ, и сами убѣгали.

Это были, кажется, самыя прекрасныя сновидѣнія въ моей жизни, и я всегда сожалѣлъ, что съ пробужденіемъ Селиванъ опять дѣлался для меня тѣмъ разбойникомъ, противъ котораго всякій добрый человѣкъ долженъ былъ принимать всѣ мѣры предосторожности. Признаться, я и самъ не хотѣлъ отстать отъ другихъ, и хотя во снѣ я велъ съ Селиваномъ самую теплую дружбу, но на яву я считалъ не лишнимъ обезпечить себя отъ него даже издали.

Съ этою цѣлію я, путемъ не малой лести и другихъ униженій, выпросилъ у ключницы хранившійся у нея въ кладовой старый, очень большой кавказскій кинжалъ моего отца. Я подвязалъ его на кутасъ, который снятъ съ дядинаго гусарскаго кивера, и мастерски спряталъ это оружіе въ головахъ, подъ матрацъ моей постельки. Если бы Селиванъ появился ночью въ нашемъ домѣ, я бы непременно противъ него выступилъ.

Объ этомъ скрытомъ цѣйхгаузѣ не знали ни отецъ, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжалъ у меня, конечно, былъ бы отобранъ, а тогда Селиванъ могъ помѣшать мнѣ спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А онъ, между тѣмъ, уже дѣлалъ къ намъ подходы, но наши бойкія дѣвушки его сразу же узнали. Къ намъ въ домъ Селиванъ дерзнулъ появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала онъ просто шумѣлъ по почамъ въ кладовой, а потомъ одинъ разъ спустился въ глубокой, долбленный липовый наполь, на днѣ котораго ставили, покрывая рѣшетомъ, колбасы и другія закуски, собираемыя для приѣма гостей. Тутъ Селиванъ захотѣлъ сдѣлать намъ серьезную домашнюю неприятность,—вѣроятно, въ отплату за тѣ неприятности, какія онъ перенесъ отъ нашихъ мужиковъ. Оборотась рыжею крысою, онъ вскочилъ на самое дно въ липовый наполь, сдвинулъ каменный гнетокъ, который лежалъ на рѣшетѣ, и съѣлъ всѣ колбасы, но зато назадъ никакъ не могъ выскочить изъ высокой кади. Здѣсь Селивану, по всѣмъ видимостямъ, никакъ невозможно было избѣжать заслуженной казни, которую вызвалась произвести надъ нимъ самая скорая Аннушка Шибаенокъ. Она явилась для этого съ

пѣлимъ чугуномъ кипятку и съ старою вилкою. Аннушка имѣла такой планъ, чтобы сначала опшарить оборотня кипяткомъ, а потомъ приколоть его вилкою и выбросить мертваго въ бурьянъ въ расклеванье воронамъ. Но, при исполненіи казни, произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипяткомъ на руку самой Аннушки Шибаенку; та выронила отъ боли вилку, а въ это время крыса укусила ее за палець и съ удивительнымъ проворствомъ, по ея же рукаву, выскочила наружу и, произведя общій перепугъ всѣхъ присутствующихъ, сдѣлалась невидимкой.

Родители мои, смотрѣвшіе на это происшествіе обыкновенными глазами, приписывали глупый исходъ травли неловкости нашихъ Аннушекъ; но мы, которые знали тайныя пружины дѣла, знали и то, что тутъ ничего невозможно было сдѣлать лучшаго, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиванъ. Разсказать объ этомъ старшимъ мы, однако, не смѣли. Какъ простосердечный народъ, мы боялись критики и насмѣшекъ надъ тѣмъ, что сами почитали за несомнѣнное и очевидное.

Черезъ порогъ передней Селиванъ перешагнуть не рѣшался ни въ какомъ видѣ, какъ мнѣ казалось, потому, что онъ кое-что зналъ о моемъ княжалѣ. И мнѣ это было и лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мнѣ уже стали утомительны одни толки и слухи, и во мнѣ разгоралось страстное желаніе встрѣтиться съ Селиваномъ лицомъ къ лицу.

Это во мнѣ обратилось, наконецъ, въ томленіе, въ которомъ и прошла вся долгая зима съ ея безконечными вечерами, а съ первыми весенними потоками съ горъ у насъ случилось происшествіе, которое разстроило весь порядокъ жизни и дало волю опаснымъ порывамъ несдержанныхъ страстей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Случай былъ неожиданный и печальный. Въ самую весеннюю ростепель, когда, по народному выраженію, «лужа быка топить», изъ далекаго тетушкина имѣнія прискакалъ верховой съ роковымъ извѣстіемъ объ опасной болѣзни дѣдушки.

Длинный переѣздъ въ такую распутицу былъ сопряженъ

съ большою опасностію; но отца и мать это не остановило, и они пустились въ дорогу немедленно. Ѣхать надо было сто верстъ и не иначе, какъ въ простой телѣжкѣ, потому что ни въ какомъ другомъ экипажѣ проѣхать совсѣмъ было невозможно. Телѣгу сопровождали два верника, съ длинными шестами въ рукахъ. Они ѣхали впередъ и ощупывали дорожные просовы. Я и домъ были оставлены на попеченіе особаго временнаго комитета, въ составъ котораго входили разные лица по разнымъ вѣдомствамъ. Аннушкѣ большой были подчинены всѣ лица женскаго пола до Оськи и Роськи; но высшій нравственный надзоръ поручень былъ старостихѣ Дементьевнѣ. Интеллигентное же руководство нами—въ разсужденіи наблюденія праздниковъ и дней недѣльных—было ввѣрено діаконому сыну Аполлинарію Ивановичу, который, въ качествѣ исключеннаго изъ семинаріи ритора, состоялъ при моей особѣ на линіи наставника. Онъ училъ меня латинскимъ склоненіямъ и вообще приготавлилъ къ тому, чтобы я могъ на слѣдующій годъ поступить въ первый классъ орловской гимназіи не совершеннымъ дикаремъ, котораго способны удивить латинская грамматика Блюстина и французская—Ломонда.

Аполлинарій былъ юноша свѣтскаго направленія и собирался поступить въ «приказные» или, по-нынѣшнему говори, въ писцы—въ орловское губернское правленіе, гдѣ служилъ его дядя, имѣвшій презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправникъ не исполнялъ какого-нибудь предписанія, то дядю Аполлинарія посылали на одной лошади «нарочнымъ» на счетъ виновнаго. Онъ ѣздилъ, не платя за лошадей денегъ, и, кромѣ того, получалъ съ виновныхъ дары и презенты и видѣлъ разные города и много разныхъ людей разныхъ чиновъ и обычаевъ. Мой Аполлинарій тоже имѣлъ въ виду современемъ достигъ такого счастья, и могъ надѣяться сдѣлать гораздо болѣе своего дяди, потому что онъ обладалъ двумя большими талантами, которые могли быть очень пріятны въ свѣтскомъ обхожденіи: Аполлинарій игралъ на гитарѣ двѣ пѣсни: «Дѣвушка крапивушку жала» и вторую, гораздо болѣе трудную—«Подъ вечеръ осенью ненастной» и, что еще рѣже было въ тогдашнее время въ провинціяхъ,—онъ умѣлъ сочинять прекрасные стихи дамамъ, за что собственно и былъ выгнанъ изъ семинаріи.

Мы съ Аполлинаріемъ, несмотря на разницу нашихъ лѣтъ, держались какъ друзья и, какъ прилично вѣрнымъ друзьямъ, мы крѣпко хранили взаимныя тайны. Въ этомъ случаѣ на его долю приходилось немножко меньше, чѣмъ на мою: мои всѣ секреты заключались въ находившемся у меня подъ матрацомъ кинжалѣ, а я обязанъ былъ глубоко таить два вѣренныя мнѣ секрета: первый касался сиротанной въ шкафѣ трубки, изъ которой Аполлинарій курилъ вечеромъ въ печку кисло-сладкіе, бѣлые нѣжнскіе корешки, а второй былъ еще важнѣе — здѣсь дѣло шло о стихахъ, написанныхъ Аполлинаріемъ въ честь нѣкоей «легконосной Пулхерин».

Стихи были, кажется, очень плохіе, но Аполлинарій говорилъ, что для вѣрнаго о нихъ сужденія необходимо было видѣть, какое они могутъ произвести впечатлѣніе, если ихъ хорошенько, съ чувствомъ прочесть нѣжной и чувствительной женщиной.

Это предполагало большую и даже въ нашемъ положеніи непреодолимую трудность, потому что маленькихъ барышень у насъ въ домѣ не было, а барышнямъ взрослымъ, которыя иногда пріѣзжали, Аполлинарій не смѣлъ предложить быть его слушательницами, такъ какъ онъ былъ очень застѣчивъ, а между нашими знакомыми барышнями водились большія пасмѣшницы.

Нужда научила Аполлинарія выдумать компромиссъ, — именно продекламировать оду, написанную «Легконосной Пулхерин», передъ нашей дѣвушкой Неонилой, которая усвоила себѣ въ модномъ магазинѣ Морозовой разныя отшлифованныя, городскія манеры и, по соображеніямъ Аполлинарія, должна была имѣть тонкія чувства, необходимыя для того, чтобы почувствовать достоинство поэтисы.

По малолѣтству моему я боялся подавать своему учителю совѣты въ его поэтическихъ опытахъ, но считалъ его намѣреніе декламировать стихи передъ швею рискованнымъ. Я, разумѣется, судилъ по себѣ и хотя бралъ въ соображеніе, что молоденькой Неонилѣ знакомы нѣкоторые предметы городского круга, но едва ли ей можетъ быть понятенъ языкъ высокой поэтисы, какимъ Аполлинарій обращался къ воспѣваемой имъ Пулхерин. Притомъ въ одѣ къ «Легконосицѣ» были такія восклицанія: «О ты, жестокая!» или «Исчезни съ глазъ моихъ!» и тому подобныя. Неонила

оть природы имѣла робкій и застѣнчивый характеръ, и я боялся, что она приметъ это на свой счетъ и непременно расплачется и убѣжить.

Но всего хуже то, что, при обыкновенномъ строгомъ домашнемъ порядкѣ нашей домашней жизни, вся эта задуманная риторомъ поэтическая репетиція была совершенно невозможна. Ни время, ни мѣсто, ни даже всѣ другія условія не благопріятствовали тому, чтобы Пеонила слушала стихи Аполлинарія и была ихъ первою цѣнительницею. Однако, безначаліемъ, которое водворилось у насъ съ отъѣздомъ родителей, все измѣнилось, и риторъ захотѣлъ этимъ воспользоваться. Теперь мы, забывъ всякую разность своихъ положеній, ежедневно играли по вечерамъ въ короли, а Аполлинарій даже курилъ въ комнатахъ свои нѣжинскіе корешки и садился въ столовой въ отцовскомъ креслѣ, что меня немножко обижало. Кромѣ того, по его же настоянію, у насъ нѣсколько разъ была затѣяна игра въ жмурки, причемъ мнѣ и брату набили синяки. Потомъ мы играли въ прятки, и разъ даже былъ устроенъ формальный фестиваль, съ большимъ угощеніемъ. Кажется, все это дѣлалось «на шереметевскій счетъ», какъ въ тогдашнее время бражничали многіе неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которыхъ направились и мы, увлекаемые риторомъ. Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, отъ кого тогда были предложены собранію цѣлый мѣшечекъ самыхъ зрѣлыхъ лѣсныхъ орѣховъ, добытыхъ изъ мышиныхъ норокъ (гдѣ обыкновенно бываютъ только орѣхи самага высшаго сорта). Кромѣ орѣховъ были три свертка сѣрой бумаги съ желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Послѣдняя очень прочно липла къ рукамъ и не скоро отмывалась.

Такъ какъ этотъ послѣдній фруктъ пользовался особымъ вниманіемъ, то груши давались только въ розыгрышъ на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смоквъ вовсе не получали. Въ фантахъ участвовали Аннушка и я, да мой наставникъ Аполлинарій, который оказался очень ловкимъ выдумщикомъ. Происходило все это въ гостиной комнатѣ, гдѣ бывало сидѣли только очень почетные гости. И тутъ-то, въ чаду увлеченія веселостями, въ Аполлинарія вошелъ какой-то отчаянный духъ, и онъ задумалъ еще болѣе дерзкое предпріятіе. Онъ захо-

тѣлъ декламировать свою оду въ грандіозной и даже ужасоющей обстановкѣ, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряженію самыя сильныя нервы. Онъ началъ всѣхъ насъ подговаривать, чтобы отправиться всѣмъ вмѣстѣ въ будущее воскресенье за ландышами въ Селивановъ лѣсъ. А вечеромъ, когда мы съ нимъ ложились спать, онъ мнѣ открылся, что ландыши тутъ одинъ только предлогъ, а главная цѣль въ томъ, чтобы прочитать стихи въ самой ужасной обстановкѣ.

Съ одной стороны будетъ дѣйствовать страхъ отъ Селивана, а съ другой — страхъ отъ ужасныхъ стиховъ... Какое это выйдетъ и можно ли это выдержать?

Представьте же себѣ, что мы на это отважились.

Въ оживленности, которою всѣ мы были охвачены въ этотъ достопамятный весенній вечеръ, намъ представлялось, что всѣ мы смѣлы и можемъ совершить отчаянную штуку безопасно. Въ самомъ дѣлѣ, насъ будетъ много, и притомъ я возьму, разумеется, свой огромный кавказскій книжаль.

Признаться, мнѣ очень хотѣлось, чтобы и всѣ другіе вооружились сообразно своей силѣ и возможности, но я ни у кого не встрѣтилъ къ этому должнаго вниманія и готовности. Аполлинарій бралъ только чубукъ да гитару, а съ дѣвушками ѣхали таганы, сковороды, котелки съ яйцами и чугунокъ. Въ чугунокѣ предполагалось варить пшеничный кулешъ съ саломъ, а на сковородѣ жарить яичницу, и въ этомъ смыслѣ они были прекрасны; но въ смыслѣ обороны, на случай возможныхъ продѣлокъ со стороны Селивана, рѣшительно ничего не значили.

Впрочемъ, по правдѣ сказать, я былъ и еще кое за что недоволенъ моими компаньонами, а именно—я не чувствовалъ съ ихъ стороны того вниманія къ Селивану, какимъ я самъ былъ проникнутъ. Они и боялись его, но какъ-то легкомысленно, и даже рисковали критически надъ нимъ подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьметъ пирожную скалку и скалкой его убьетъ, а Шибаенокъ смѣялась, что она его загрызть можетъ, и при этомъ показывала свои бѣлые-пребѣлые зубы и перекусывала ими кусочекъ проволоки. Все это какъ-то не солидно; всѣхъ превзошелъ риторъ. Онъ совсѣмъ отвергалъ существованіе Селивана,—говорилъ, что его даже никогда не было и что онъ

просто есть изобрѣтеніе фантазій, такое же, какъ Пифонъ, Церберъ и тому подобное.

Тогда я первый разъ видѣлъ, до чего способенъ человекъ увлекаться въ отрицаніяхъ! Къ чему же тогда вся риторика, если она позволяетъ поставить на одну ступень вѣроятность баснословнаго Пифона съ Селиваномъ, дѣйствительное существованіе котораго подтверждалось множествомъ очевидныхъ событій.

Я этому соблазну не поддался и сберегъ мою вѣру въ Селивана. Даже болѣе того, я вѣрилъ, что риторъ за свое невѣріе будетъ непременно наказанъ.

Впрочемъ, если не строго относиться къ этимъ философіямъ, то затѣянная поѣздка въ лѣсъ обѣщала много веселости, и никто не хотѣлъ или не могъ заставить себя приготовиться къ явленіямъ другого сорта. А межъ тѣмъ благоразуміе заставляло весьма поостеречься въ этомъ проклятомъ лѣсу, гдѣ мы будемъ, такъ сказать, въ самой пасти у звѣря.

Всѣ думали только о томъ, какъ имъ весело будетъ разбрестись по лѣсу, куда всѣ болятся ходить, а они не болятся. Размышляли о томъ, какъ мы пройдемъ насквозь весь опасный лѣсъ, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, въ которыхъ дотлѣваетъ послѣдній снѣгъ, а и не подумали, будетъ ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочемъ, мы за то имѣли въ виду изготovitъ на туалетъ мамы два большіе букета изъ лучшихъ ландышей, а изъ остальныхъ сдѣлать душистый перегонъ, который во все предстоящее лѣто будетъ давать превосходное умыванье отъ загара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Нетерпѣливо дождавшись воскресенья, мы оставили въ домѣ на хозяйствѣ старостиху Дементьевну, а сами отправились къ Селиванову лѣсу. Вся публика шла пѣшкомъ, держась болѣе просохшихъ высокихъ рубежей, гдѣ уже зеленѣла первая изумрудная травка, а по дорогѣ слѣдоваль обозъ, состоящій изъ телѣги, запряженной старою буланою лошадыю. На телѣгѣ лежала Аюллиinarieва гитара и взятыя, на случай ненастья, дѣвичьи кацавейки. Правиль лошадыю я, а назади, въ качествѣ пассажировъ, помѣщались Роська и другія дѣвчонки, изъ которыхъ одна бережно везла

въ колѣняхъ кошелочку съ яйцами, а другая имѣла общее попеченіе о различныхъ предметахъ, но наиболѣе поддерживала рукою мой огромный кинжалъ, который былъ у меня подвѣшенъ черезъ плечо на старомъ гусарскомъ шнурѣ отъ дядина этишкета и болтался изъ стороны въ сторону, значительно затрудняя мои движенія и отрывая мое вниманіе отъ управленія лошадыю.

Дѣвушки, идучи по рубежу, пѣли: «Распаху-ль я пашеньку, посяю-ль я ленъ-конопель», а риторъ имъ вторилъ басомъ.

Попадавшіеся намъ навстрѣчу мужики кланялись и спрашивали:

— Куда поднялись?

Аннушки имъ отвѣчали:

— Идемъ Селиванку въ плѣнъ брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорѣлыя!

Мы и дѣйствительно были въ какомъ-то чаду, насъ охватила неудержимая полудѣтская потребность бѣгать, пѣть, смѣяться и дѣлать все очертя голову.

А между тѣмъ часъ ѣзды по скверной дорогѣ началъ на меня дѣйствовать неблагоприятно, — старый буланый мнѣ надоѣлъ и во мнѣ охладѣла охота держать въ рукахъ веревочныя вожжи; но невдалекѣ, на горизонтѣ, засинѣлъ Селивановъ лѣсъ, и все ожгло. Сердце забилося и заныло, какъ у Вара при входѣ въ Тевтобургскія дебри. А въ это же время изъ-подъ талой межи выскочилъ заяцъ и, пробѣжавъ черезъ дорогу, понесся по полю.

— Фу! чтобъ тебѣ пусто было! — закричали вслѣдъ ему Аннушки.

Онѣ всѣ знали, что встрѣча съ зайцемъ къ добру никогда не бываетъ. И я тоже струсился и схватился за свой кинжалъ, но такъ увлекся заботами объ извлеченіи его изъ заржавѣвшихъ ноженъ, что не замѣтилъ, какъ выпустилъ изъ рукъ вожжи и, съ совершенною для себя неожиданностію, очутился подъ опрокинувшееся телѣгою, которую потянувшийся на рубежъ за травкою буланый повернулъ самымъ правильнымъ образомъ, такъ что всѣ четыре колеса очутились вверху, а я съ Роськой и со всею нашею провизіею явились подъ спудомъ...

Это несчастіе съ нами случилось моментально, но по-

сѣдствія его были неисчислимы: гитара Аполлинарія была разломана вдребезги, а разбитыя яйца текли и заклеивали намъ лица своимъ содержимымъ. Вдобавокъ Роська ревъѣла.

Я былъ всемѣрно подавленъ и сконфуженъ и до того растерялся, что даже желалъ, чтобы насъ лучше совсѣмъ не освобождали; но я уже слышалъ голоса всѣхъ Аннушекъ, которыя, трудясь надъ нашимъ освобожденіемъ, тутъ же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего паденія. Я и буланый были тутъ ни въ чемъ непричинны: все это было дѣломъ Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить насъ къ его лѣсу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротивъ, только привела всѣхъ въ большое негодованіе и увеличила рѣшимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телѣгу, поставить насъ на ноги, смыть съ насъ гдѣ-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцѣлѣло послѣ нашего крушенія изъ вещей, взятыхъ для дневного продовольствія нашей многочисленной группы.

Все это и было кое-какъ сдѣлано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бѣжалъ подъ самымъ Селивановымъ лѣсомъ, и когда глаза мои раскрылись, то свѣтъ мнѣ показался очень невзрачнымъ. Розовыя платья дѣвочекъ и мой новый бешметъ изъ голубого кашемира были никуда не годны: покрывшія ихъ грязь и яйца совсѣмъ ихъ испортили и не могли быть отмыты безъ мыла, котораго мы съ собой не захватили. Чугунъ и сковородка были расколоты, отъ тагана валялись однѣ ножки, а отъ гитары Аполлинарія остался одинъ грифъ съ закрутившимися на немъ струнами. Хлѣбъ и другая сухая провизія были въ грязи. По меньшей мѣрѣ намъ угрожалъ цѣлоденный голодъ, если не считать ни во что другихъ ужасовъ, которые чувствовались во всемъ окружающемъ. Въ долину надъ ручьемъ свистѣлъ вѣтеръ, а черный, еще не убранный зеленью лѣсъ шумѣлъ и зловѣще махалъ на насъ своими прутьями.

Настроеніе духа во всѣхъ насъ значительно понизилось, — особенно въ Роськѣ, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки рѣшили вступить въ Селиваново царство, а дальше пусть будетъ, что будетъ.

Во всякомъ случаѣ, одно и то же приключеніе безъ какой-нибудь перемѣны не могло повториться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Всѣ перекрестились и начали входить въ лѣсъ. Входили робко и нерѣшительно, но каждый скрывалъ отъ другихъ свою робость. Всѣ только уговаривались какъ можно чаще перекликаться. Но, впрочемъ, не оказалось и большой нужды въ перекличкѣ, потому что никто далеко вглубь не ушелъ, всѣ мы какъ будто случайно безпрестанно сучивались къ краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Одинъ Аполлинарій оказался смѣлѣе другихъ и нѣсколько углубился въ чащу: онъ заботился найти самое глухое и страшное мѣсто, гдѣ его декламация могла бы произвести какъ можно болѣе ужасное впечатлѣніе на слушателей; но зато, чуть только Аполлинарій скрылся изъ вида, лѣсъ вдругъ огласился его пронзительнымъ, неистовымъ крикомъ. Никто не могъ себѣ вообразить, какая опасность встрѣтила Аполлинарія, но всѣ его покинули и бросились бѣжать вонъ изъ лѣса на поляну, а потомъ, не оглядываясь назадъ, — дальше, по дорогѣ къ дому. Такъ бѣжали всѣ Аннушки и всѣ Моськи, а за ними, продолжая кричать отъ страха, пронесся и самъ педагогъ, а мы съ маленькимъ братомъ остались одни.

Изъ всей нашей компаніи не осталось никого: насъ покинули не только всѣ люди, но безчеловѣчному примѣру людей послѣдовала и лошадь. Перепуганная ихъ крикомъ, она замотала головою и, повернувъ прочь отъ лѣса, помчалась домой, разбросавъ по ямамъ и рывинамъ все, что еще оставалось до сихъ поръ въ телѣжкѣ.

Это было не отступленіе, а полное и самое позорное бѣгство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утратою всего здраваго смысла, причемъ мы, дѣти, были кинуты на произволъ судьбы.

Богъ знаетъ, что намъ довелось бы испытать въ нашемъ беспомощномъ сиротствѣ, которое было тѣмъ опаснѣе, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая изъ мягкихъ козловыхъ башмачковъ на тонкой рантовой подшивкѣ, не представляла удобства для перехода въ четыре версты по сырýmъ тропинкамъ, на которыхъ еще во многихъ мѣстахъ стояли холодныя лужи. Въ до-

вершеніе бѣды, прежде чѣмъ мы съ братомъ успѣли себѣ представить вполнѣ весь ужасъ нашего положенія, по лѣсу что-то зарокотало, и потомъ съ противоположной стороны отъ ручья на насъ дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядѣли за лощину и увидали, что съ той стороны, куда лежитъ нашъ путь и куда позорно бѣжала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча съ весеннимъ дождемъ и съ первымъ весеннимъ громомъ, при которомъ молодыя дѣвушки умываются съ серебряной ложечки, чтобы самимъ стать бѣлѣй серебра.

Видя себя въ такомъ отчаянномъ положеніи, я готовъ былъ расплакаться, а мой маленькій братъ уже плакалъ. Онъ весь посинѣлъ и дрожалъ отъ страха и холода и, сложивъ головою подъ кустикъ, жарко молился Богу.

Богъ, кажется, внялъ его дѣтской мольбѣ, и намъ было послано невидимое спасеніе. Въ ту самую минуту, когда прогремѣлъ громъ и мы теряли послѣднее мужество, въ лѣсу за кустами послышался трескъ и изъ-за густыхъ вѣтвей рослаго орѣшника выглянуло широкое лицо незнакомаго намъ мужика. Лицо это показалось намъ до такой степени страшнымъ, что мы вскрикнули и стремглавъ бросились бѣжать къ ручью.

Не помня себя, мы перебѣжали лощину, кувыркомъ слѣтѣли съ мокраго, осыпавшагося бережка и прямо очутились по-поясъ въ мутной водѣ, между тѣмъ какъ ноги наши до колѣнъ увязли въ тинѣ.

Бѣжать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше былъ слишкомъ глубокъ для нашего маленькаго роста, и мы не могли надѣяться перейти черезъ него, а притомъ по его струямъ теперь страшно сверкали зигзаги молніи — они трепетали и вились какъ огненные змѣи и точно прятались въ прошлогоднихъ оставшихся водоросляхъ.

Очутясь въ водѣ, мы схватили другъ друга за руки и стали въ оцѣпенѣніи, а сверху на насъ уже надали тяжелыя капли полившаго дождя. Но это оцѣпенѣніе и сохранило насъ отъ большой опасности, которой мы никакъ бы не избѣжали, если бы сдѣлали еще хотя одинъ шагъ далѣе въ воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, къ счастью, насъ обвили двѣ черныя, жилистыя руки — и тотъ

самый мужикъ, который выглянулъ на насъ страшно изъ орѣшника, ласково проговорилъ:

— Эхъ, вы, глупые ребятки, куда залѣзли!

И съ этимъ онъ взялъ и понесъ насъ черезъ ручей.

Выйдя на другой берегъ, онъ опустилъ насъ на землю, снялъ съ себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у вѣрота круглою мѣдною пуговкою, и обтеръ этою свиткою наши мокрыя ноги.

Мы на него смотрѣли въ это время совершенно потерянно и чувствовали себя виолифъ въ его власти, но чудное дѣло—черты его лица въ нашихъ глазахъ быстро измѣнялись. Въ нихъ мы уже не только не видѣли ничего страшнаго, но, напротивъ, лицо его намъ казалось очень добрымъ и приятнымъ.

Это былъ мужикъ плотный, коренастый, съ просѣдью въ головѣ и въ усахъ,—борода комкомъ и тоже съ просѣдью, глаза живые, быстрые и серьезные, но въ устахъ что-то близкое къ улыбкѣ.

Снявъ съ нашихъ ногъ, насколько могъ, грязь и тину полою своей свитки, онъ даже совѣмъ улыбнулся и опять заговорилъ:

— Вы того... ничего... не пужайтесь...

Съ этимъ онъ оглянулся по сторонамъ и продолжалъ:

— Ничего; сейчасъ большой дождь пойдетъ! (Онъ уже шелъ и тогда).—Вамъ, ребяташки, пѣшкомъ не дойти.

Мы въ отвѣтъ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я васъ донесу на себѣ!—заговорилъ онъ и утеръ своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчасъ же показались на лицѣ грязныя полосы.

— Вонъ ишь, какія мужичьи руки-то грязныя,—сказалъ нашъ избавитель и провелъ еще разъ по лицу брата ладонью въ другую сторону, — отчего грязь не убавилась, а только получила растушовку въ другую сторону.

— Вамъ не дойти... Я васъ поведу, да не дойти, и въ грязи черевички *) снадутъ.

— Умѣете ли верхомъ ѣздить?—заговорилъ снова мужикъ.

Я взялъ смѣлость проронить слово и отвѣтилъ:

— Умѣю.

*) Башмаки—по-орловски черевички.

— А умѣешь, то и ладно!—молвить онъ и въ одно мгновеніе вскинулъ меня на одно плечо, а брата — на другое, велѣлъ намъ взяться другъ съ другомъ руками за его затыкомъ, а самъ покрылъ насъ своею свиткою, прижалъ къ себѣ наши колѣна и понесъ насъ, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала подъ его твердо ступавшими ногами, обутыми въ большіе лапти.

Мы сидѣли на его плечахъ, покрытые его свитою. Это, должно-быть, выходила преобладающая фигура, но намъ было удобно: свита замочла отъ ливня и залубенѣла такъ, что намъ подъ нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на плечахъ нашего носильщика какъ на верблюдѣ и скоро впади въ какое-то каталептическое состояніе, а пришли въ себя у родника, на своей усадьбѣ. Для меня лично это былъ настоящій глубокой сонъ, изъ котораго пробужденіе наступало не разомъ. Я помню, что насъ разворачивалъ изъ свиты этотъ самый мужикъ, котораго теперь окружали всѣ наши Аннушки, и всѣ онѣ вырывали насъ у него изъ рукъ и при этомъ самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, въ которой мы были имъ такъ хорошо сбережены, бросили ему съ величайшимъ презрѣніемъ на землю. Кромѣ того, ему еще угрожали прїѣздомъ моего отца и тѣмъ, что онѣ сейчасъ сбѣгаютъ на деревню, позовуть съ цѣнами бабъ и мужиковъ и пустятъ на него собакъ.

Я рѣшительно не понималъ причины такой жестокой несправедливости, и это было неудивительно, потому что дома у насъ, во всемъ господствовавшемъ теперь временномъ правленіи, былъ образованъ заговоръ, чтобы намъ ничего не открывать о томъ, кто былъ этотъ человекъ, которому мы были обязаны своимъ спасеніемъ.

— Ничѣмъ вы ему не обязаны,—говорили намъ наши охранительницы,—а, напротивъ, это онъ-то все и надѣлалъ.

По этимъ словамъ я тотчасъ же догадался, что насъ спасъ не кто иной, какъ самъ *Селиванъ!*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Оно такъ и было. На другой день, въ виду возвращенія родителей, намъ это открыли и взяли съ насъ клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей съ нами исторіи.

Въ тѣ времена, когда водились крѣпостные люди, иногда

случалось, что помѣщичьи дѣти питали къ крѣпостной прислугѣ самыя нѣжныя чувства и крѣпко хранили ихъ тайны. Такъ было и у насъ. Мы даже покрывали, какъ умѣли, грѣхи и проступки «своихъ людей» передъ родителями. Такія отношенія упоминаются во многихъ произведеніяхъ, гдѣ описывается помѣщичій бытъ того времени. Что до меня, то мнѣ наша дѣтская дружба съ нашими бывшими крѣпостными до сихъ поръ составляетъ самое пріятное и самое теплое воспоминаніе. Черезъ нихъ мы знали всѣ нужды и всѣ заботы бѣдной жизни ихъ родныхъ и друзей на деревнѣ и учились *жалѣть народъ*. Но этотъ добрый народъ, къ сожалѣнію, самъ не всегда былъ справедливъ и иногда былъ способенъ для очень неважныхъ причинъ бросить на ближняго темную тѣнь, не заботясь о томъ, какое это можетъ имѣть вредное вліяніе. Такъ поступалъ «народъ» и съ Селиваномъ, объ истинномъ характерѣ и правилахъ котораго не хотѣли знать ничего основательнаго, но смѣло, не боясь погрѣшнить передъ справедливою, распространили о немъ слухи, сдѣлавшіе его для всѣхъ *тупомъ*. И, къ удивленію, все, что о немъ говорили, не только казалось вѣроятнымъ, но даже имѣло какіе-то видимые признаки, по которымъ приходилось думать, что Селиванъ въ самомъ дѣлѣ человекъ дурной и что вблизи его уединеннаго жилища происходятъ страшныя злодѣянія.

То же самое произошло и теперь, когда насъ бранили тѣ, на которыхъ состояла обязанность охранять насъ: они не только ввалили всю вину на Селивана, который спасъ насъ отъ непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлиарій и всѣ Аннушки рассказали намъ, что когда Аполлиарій замѣтилъ въ лѣсу хорошенькій холмъ, съ котораго ему казалось удобно декламировать,—онъ побѣжалъ къ этому холму черезъ лощинку, засыпанную прошлогоднимъ увядшимъ древеснымъ листомъ, но здѣсь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось подъ ногами Аполлиарія и заставило его упасть, а когда онъ сталъ вставать, то увидалъ, что это трупъ молодой крестьянской женщины. Онъ разсмотрѣлъ, что трупъ былъ въ чистомъ бѣломъ сарафанѣ, съ краснымъ питьемъ, и... съ перерѣзаннымъ горломъ, изъ котораго лилась кровь...

Отъ такой ужасной неожиданности, конечно, можно было

и перепугаться, и закричать, — какъ онъ и сдѣлалъ; но вотъ что было непонятно и удивительно: Аполлинарій, какъ я рассказываю, былъ отъ всѣхъ другихъ въ отдаленіи, и одинъ споткнулся о трунъ убитой, но всѣ Аннушки и Роськи клялись и божились, что онѣ тоже *видѣли* убитую...

— Иначе, говорили онѣ, — мы развѣ бы такъ испугались?

И я о сию пору увѣренъ, что онѣ не лгали, что онѣ были глубоко увѣрены въ томъ, что видѣли въ Селивановомъ лѣсу убитую бабу, въ чистомъ крестьянскомъ уборѣ, съ краснымъ шитьемъ и съ перерѣзаннымъ горломъ, изъ котораго струилась кровь... Какъ это могло случиться?

Такъ какъ я пишу не вымыселъ, а то, что дѣйствительно было, то долженъ здѣсь остановиться и примолвить, что случай этотъ такъ и остался навсегда необъяснимымъ въ домъ нашемъ. Убитую и лежавшую, по словамъ Аполлинарія, подъ листомъ въ ямкѣ женщину не могъ видѣть никто, кромѣ Аполлинарія, ибо никого, кромѣ Аполлинарія, здѣсь не было. Между тѣмъ всѣ клялись, что всѣ видѣли, точно эта мертвая баба въ одно мгновеніе ока проявилась на всѣхъ мѣстахъ подъ глазами у каждаго. Кромѣ того, видѣли ли въ дѣйствительности такую женщину и Аполлинарій? Едва ли это было возможно, потому что дѣло это происходило въ самую росаль, когда еще и снѣгъ не вездѣ стаялъ. Деревянный листъ лежалъ подъ снѣгомъ съ *осени*, а между тѣмъ Аполлинарій видѣлъ трунъ въ чистомъ бѣломъ уборѣ, съ шитьемъ, и кровь изъ раны еще струилась... Ничего такого въ этомъ видѣ положительнаго не могло быть, но между тѣмъ всѣ крестились и клялись, что видѣли бабу, какъ разъ такъ, какъ сказано. И всѣ послѣ боялись ночью спать, и всѣмъ страшно было, точно всѣ мы сдѣлали преступленіе. Вскорѣ и я получилъ убѣжденіе, что мы съ братомъ тоже видѣли зарѣзанную бабу. Тутъ у насъ началась всеобщая боязнь, окончившаяся тѣмъ, что все дѣло открылось родителямъ, а отецъ написалъ письмо исправнику — и тотъ пріѣзжалъ къ намъ съ предлинной саблей и всѣхъ разсиранивалъ по секрету въ отцовскомъ кабинетѣ. Аполлинарія исправникъ призывалъ даже два раза и во второй разъ дѣлалъ ему такое сильное внушеніе, что у того, когда онъ вышелъ, оба уха горѣли какъ въ огнѣ и изъ одного изъ нихъ даже шла кровь.

Это мы тоже *все видели*.

Но какъ бы то ни было, мы нашими разсказями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лѣсъ и самого его содержали долгое время подъ карауломъ, но ничего подозрительнаго у него не нашли и слѣдовъ видѣнной нами убитой женщины тоже никакихъ не оказалось. Селивановъ опять вернулся домой, но это ему не помогло въ общественномъ мнѣнн: все съ этихъ поръ знали, что онъ несомнѣнный, хотя и неувимый злодѣй, и не хотѣли имѣть съ нимъ ровно никакого дѣла. А меня, чтобы я не подвергся усиленному воздѣйствию поэтическаго элемента, отвезли въ «благородный пансіонъ», гдѣ я и началъ усвоивать себѣ общеобразовательныя науки, въ полной безмятежности, вплоть до приближенія рождественскихъ праздниковъ, когда мнѣ настало время ѣхать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видѣть въ немъ собственными глазами большіе страхи

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Дурная репутація Селивана давала мнѣ большой апломбъ между моими пансіонскими товарищами, съ которыми я дѣлился моими свѣдѣніями объ этомъ страшномъ человѣкѣ. Изъ всѣхъ моихъ пансіонерскихъ сверстниковъ ни одинъ еще не переживалъ такихъ страшныхъ ощущеній, какими я могъ похвастаться, и теперь, когда мнѣ опять предстояло проѣхать мимо Селивана,—къ этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротивъ, большинство товарищей меня сожалѣли и прямо говорили, что они не хотѣли бы быть на моемъ мѣстѣ, а два или три смѣльчака мнѣ завидовали и хвалились, что они бы очень хотѣли встрѣтиться лицомъ къ лицу съ Селиваномъ. Но двое изъ этихъ были заисные хвастунишки, а третій могъ никого не бояться, потому что, по его словамъ, у его бабушки въ старинномъ венеційскомъ кольцѣ былъ «таусинный камень», съ которымъ къ человѣку «никакая бѣда неприступна» *). У насъ же въ семьѣ такой драгоцѣнности не

*) «Таусинный камень» или «таусень» — свѣтлый сафиръ съ отблкомъ *павлиньего пера*, въ старину считался спасительнымъ талисманомъ. У Грознаго былъ такой талисманъ тоже въ кольцѣ или, по-старинному, въ «напаакѣ». «Напаака золотная жуковиню (перстнемъ), а въ ней камень таусень, а въ томъ муть и какъ бы пузырина зрится».

было, да и притомъ я долженъ былъ совершить мое рождественское путешествіе не на своихъ лошадяхъ, а съ тетушкой, которая какъ разъ передъ свитками продала домъ въ Орлѣ и, получивъ за него тридцать тысячъ рублей, ѣхала къ намъ, чтобы тамъ въ нашихъ краяхъ купить давно приторгованное для нея моимъ отцомъ имѣніе.

Къ досадѣ моей, сборы тетушки цѣлые два дня задерживались какими-то важными дѣловыми обстоятельствами, и мы выѣхали изъ Орла какъ разъ утромъ въ рождественскій сочельникъ.

Ѣхали мы въ просторной, рогожной троечной кибиткѣ, съ кучеромъ Спиридономъ и молодымъ лакеемъ Борискою. Въ экипажѣ помѣщались тетушка, я, мой двоюродный братъ, маленькія кузины и няня—Любовь Тимоѣевна.

На порядочныхъ лошадяхъ, при хорошей дорогѣ, до нашей деревеньки отъ Орла можно было доѣхать въ пять или шесть часовъ. Мы пріѣхали въ Кромы въ два часа и остановились у знакомаго купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у насъ была въ обычаѣ, да ее требовалъ и туалетъ моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти къ оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потомъ «закурило», т. е. помело по землѣ мелкимъ снѣжкомъ.

Тетушка была въ раздумьѣ: переждать ли это, или, напротивъ, послѣшить, ѣхать скорѣе, чтобы успѣть добраться къ намъ домой ранѣе, чѣмъ можетъ разыгратъя непогода.

Проѣхать оставалось съ небольшимъ двадцать верстъ. Кучерь и лакей, которымъ хотѣлось встрѣтить праздникъ съ родными и пріятелями, увѣряли, что мы успѣемъ доѣхать благополучно—лишь бы только не медлить и выѣзжать скорѣе.

Мои желанія и желанія тетушки тоже вполне отвѣчали тому, чего хотѣли Спиридонъ и Бориска. Никто не хотѣлъ встрѣтить праздникъ въ чужомъ домѣ, въ Кромахъ. Притомъ же тетушка была недовѣрчива и мнительна, а съ нею теперь была такая значительная сумма денегъ, помѣщавшаяся въ краснаго дерева шкатулочкѣ, закрытой чехломъ изъ толстаго зеленаго фриза.

Ночевать съ такимъ денежнымъ богатствомъ въ чужомъ

домѣ тетушкѣ казалось очень не безопаснымъ, и она рѣшилась послушаться совѣта нашихъ вѣрныхъ слугъ.

Съ небольшимъ въ три часа кибитка наша была запряжена и мы выѣхали изъ Кромъ по направленію къ раскольницкой деревнѣ Колчевѣ; но едва лишь переѣхали по льду черезъ рѣку Крому, какъ почувствовали, что намъ какъ бы вдругъ недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бѣжали шибко, пофыркивали и мотали головами,—это составляло вѣрный признакъ, что и онѣ тоже испытывали недостатокъ воздуха. Между тѣмъ экипажъ неся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Вѣтеръ былъ намъ взадъ и какъ бы гналъ насъ съ усиленною скоростію къ какой-то предначертанной межѣ. Скоро, однако, бойкій слѣдъ по пути сталъ «заикаться»; по дорогѣ пошли уже мягкіе снѣговые переносы,—они начали встрѣчаться все чаще и чаще, наконецъ, вскорѣ прежняго бойкаго слѣда сдѣлалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула изъ возка, чтобы спросить кучера, вѣрно ли мы держимся дороги, и сейчасъ же откинулась назадъ, потому что ее обдало мелкою холодною пылью и, прежде чѣмъ мы успѣли дозваться къ себѣ людей съ козелъ, снѣгъ понесся густыми хлопьями, небо въ мгновеніе стемнѣло, и мы очутились во власти настоящей снѣговой бури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ѣхать назадъ къ Кромамъ было такъ же опасно, какъ и ѣхать впередъ. Даже позади чуть ли не было болѣе опасности, потому что за нами осталась рѣка, на которой было подъ городомъ нѣсколько прорубей, и мы при метели легко могли ихъ не разглядѣть и упасть подъ ледъ, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой верстѣ—Селивановъ лѣсъ, который въ метель не увеличивалъ опасности, потому что въ лѣсу должно быть даже тише. Притомъ въ глубь лѣса проѣзжей дороги не было, а она шла по опушкѣ. Лѣсъ намъ могъ быть только полезнымъ указаніемъ, что мы проѣхали половину дороги до дому и потому кучеръ Спиридонъ погналъ лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелѣе и снѣжистѣе: прежняго веселаго стука подъ полозьями не было и помина, а, на-

противъ, возокъ ползъ по рыхлому наносу и скоро началъ бочить то въ одну, то въ другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроеніе духа и начали чаще освѣдомляться о нашемъ положеніи у лакея и у кучера, которые давали намъ отвѣты неопредѣленные и нетвердые. Они старались внушить намъ увѣренность въ нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой увѣренности въ себѣ не чувствовали.

Черезъ полчаса скорой ѣзды, при которой кнутъ Спиридона все чаще и чаще щелкалъ по лошадамъ, мы были обрѣдованы восклицаніемъ:

— Вотъ Селиванкинъ лѣсъ завидѣлся.

— Далеко онъ?—спросила тетушка.

— Нѣтъ, вотъ совсѣмъ до него доѣхали.

Это такъ и слѣдовало,—мы ѣхали отъ Кромъ уже около часа, но прошло еще добрыхъ полчаса,—мы все ѣдемъ и кнутъ хлещетъ по конямъ все чаще и чаще, а лѣса нѣтъ.

— Что же это такое? Гдѣ Селивановъ лѣсъ?

Съ козелъ ничего не отвѣчаютъ.

— Гдѣ же лѣсъ?—переспрашиваетъ тетушка:—проѣхали мы его, что ли?

— Нѣтъ, еще не проѣзжали,—глухо, какъ бы изъ-подъ подушки, отвѣчаетъ Спиридонъ.

— Да что же это значитъ?

Молчаніе.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула изъ-за фартука и изо всѣхъ силъ отчаянно крикнула: «остановитесь!» а сама упала назадъ въ возокъ, куда вмѣстѣ съ нею ввалилось цѣлое облако снѣжныхъ шалокъ, которыя, подчиняясь вліянію вѣтра, еще не сразу сѣли, а тряслись точно рѣющія мухи.

Кучеръ остановилъ лошадей, и прекрасно сдѣлалъ, потому что онѣ тяжело носили животами и шатались отъ усталости. Если бы имъ не дать въ эту минуту передышки, бѣдныя животныя, вѣроятно, упали бы.

— Гдѣ ты?—спросила тетушка сошедшаго Бориса.

Онъ былъ на себя не похожъ. Передъ нами стоялъ не человѣкъ, а снѣжный столбъ. Воротникъ волчьей шубы у Бориса былъ поднятъ вверхъ и обвязанъ какимъ-то обрывкомъ. Все это пропустило снѣгомъ и сѣвшило въ одну кучу.

Борисъ былъ не знатокъ дороги и робко отвѣчалъ, что мы, *кажется*, сбились.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосомъ было невозможно: метель всёми затыкала рты и только сама одна ревла и выла на просторѣ съ ужасающимъ ожесточеніемъ.

Вориска полѣзъ на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени прежде, чѣмъ онъ сталъ снова у возка и объяснилъ:

— Спиридона нѣтъ на козлахъ!

— Какъ нѣтъ! гдѣ же онъ?

— Я не знаю. Вѣрно сошелъ поискать слѣда. Позвольте и я пойду.

— О Господи! Нѣтъ, не надо,—не ходи; а то вы оба пропадете, и мы всё замерзнемъ.

Услыхавъ это слово, я и мой кузень заплакали, но въ это же самое мгновеніе у возка рядомъ съ Борисушкой появился другой снѣговой столбъ, еще болѣе крупный и страшный.

Это былъ Спиридонъ, надѣвшій на себя запасной мочальный кулекъ, который стоялъ вокругъ его головы весь набитый снѣгомъ и обмерзлый.

— Гдѣ же ты видѣлъ лѣсъ, Спиридонъ?

— Видѣлъ, сударыня.

— Гдѣ же онъ теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотѣла посмотрѣть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридонъ увѣрялъ, что это оттого, что она «необсмотрѣвши»; но что онъ очень давно видитъ какъ лѣсъ чернѣть, но... только въ томъ бѣда, что къ нему подъѣзжаемъ, а онъ отъ насъ отъѣзжаетъ.

— Все это, воля ваша, Селивашка дѣлаетъ. Онъ насъ куда-то заводитъ.

Услыхавъ, что мы попали въ такую страшную пору въ руки злодѣя Селиванки, мы съ кузеномъ заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рожденію деревенская барышня и потомъ полковая дама, она не такъ легко терялась, какъ городскія дамы, которымъ всякія невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опытъ и сноровка, и они насъ спасли изъ положенія, которое, въ самомъ дѣлѣ, было очень опасно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Не знаю: вѣрила или не вѣрила тетушка въ злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнѣе для нашего спасенія, чтобы не выбились изъ силъ наши лошади. Если лошади изнурятся и станутъ, а морозъ закрѣпчаетъ, то всё мы непремѣнно погибнемъ. Насъ удушить бури и морозъ заморозить. Но если лошади сохранять силу для того, чтобы брести какъ-нибудь, шагъ за шагомъ, то можно питать надежду, что кони, идучи по вѣтру, сами выйдутъ какъ-нибудь на дорогу и привезутъ насъ къ какому-нибудь жилью. Пусть это будетъ хоть нетопленая избушка на курьихъ ножкахъ въ овражкѣ, но все же въ ней хоть не бьетъ такъ сердито вьюга и нѣтъ этого дерганья, которое ощущается при каждомъ усилии лошадей переставить ихъ усталыя ноги... Тамъ бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотѣлось и мнѣ, и моему кузену. На этотъ счетъ изъ насъ счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою зайчьей шубкой у няни, но намъ двумъ не давали засыпать. Тетушка знала, что страшно, потому что сонный скорѣе замерзнетъ. Положеніе наше съ каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидѣвшіе на козлахъ кучеръ и лакей начали отъ стужи застывать и говорить невнятнымъ языкомъ, а тетушка перестала обращать вниманіе на меня съ братомъ, и мы, прижавшись другъ къ другу, разомъ уснули. Мнѣ даже видѣлись веселые сны: лѣто, нашъ садъ, наши люди, Аполлинарій, и вдругъ все это перескочило къ поѣздкѣ за ландышами и къ Селивану, про котораго не то что-то слышу, не то только что-то приноминаю. Все спуталось... такъ что никакъ не разберу, что происходитъ во снѣ, что наяву. Чувствуется холодъ, слышится вой вѣтра и тяжелое хлопанье рогожки на крышкѣ возка, а прямо передъ глазами стоитъ Селиванъ, въ свиткѣ на одно плечо, а въ вытянутой къ намъ рукѣ держитъ фонарь... Видѣніе это, сонъ или картина фантазіи?

Но это былъ не сонъ, не фантазія, а судьбѣ, дѣйствительно, угодно было привести насъ въ эту страшную ночь въ страшный дворъ Селивана, и мы не могли искать себѣ спасенія нигдѣ въ иномъ мѣстѣ, потому что кругомъ не

было вблизи никакого другого жилья. А между тѣмъ съ нами была еще тетушкина шкатулка, въ которой находилось тридцать тысячъ ея денегъ, составлявшихъ все ея состояніе. Какъ остановиться съ такимъ соблазнительнымъ богатствомъ у такого подозрительнаго человѣка, какъ Селиванъ?

Конечно, мы погибли! Впрочемъ, выборъ могъ быть только въ томъ, что лучше,—замерзнуть ли на вьюгѣ, или пасть подъ ножомъ Селивана и его злыхъ сообщниковъ?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Какъ во время короткаго мгновенія, когда сверкнетъ молнія, глазъ, находившійся въ темнотѣ, вдругъ различаетъ разомъ множество предметовъ, такъ и при появленіи освѣтившаго насъ Селиванова фонаря я видѣлъ ужасъ всѣхъ лицъ нашего бѣдствующаго экипажа. Кучеръ и лакей чуть не повалились передъ нимъ на колѣна и остолбенились въ наклонѣ, тетушка подалась назадъ, какъ будто хотѣла продавить спинку кибитки. Няня же приняла лицомъ къ ребенку и вдругъ такъ сократилась, что сама сдѣлалась не больше ребенка.

Селиванъ стоялъ молча, но... въ его некрасивомъ лицѣ я не видалъ ни малѣйшей злости. Онъ теперь казался только сосредоточеннѣе, чѣмъ тогда, когда несъ меня на закоркахъ. Оглядѣвъ насъ, онъ тихо спросилъ:

— Отогрѣйтесь, что ли?...

Тетушка оправилась скорѣе другихъ и отвѣтила ему:

— Да, мы замерзаемъ... Спаси насъ!

— Пусть Богъ спасетъ! Възжайте,—изба топлена.

И онъ сошелъ съ порога и сталъ свѣтить фонаремъ въ кибиткѣ.

Между прислугою, тетушкою и Селиваномъ перекидывались отдѣльныя коротенькія фразы, обнаружившія со стороны нашей недовѣріе къ хозяину и страхъ, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью пронию и, пожалуй, тоже своего рода недовѣріе.

Кучеръ спрашивалъ:—есть ли кормъ лошадямъ?

Селиванъ отвѣчалъ:—понцемъ.

Лакей Борисъ узнавалъ, есть ли другіе проѣзжіе?

— Взойдешь—увидишь,—отвѣчалъ Селиванъ.

Няня проговорила:—да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиванъ отвѣчалъ:

— Страшно, такъ не заходи.

Тетушка остановила ихъ, сказавши каждому какъ могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь,—все равно это ничему не поможетъ. Дальше ѣхать нельзя. Останемся къ волю Божью.

И между тѣмъ, пока шла эта перемолвка, мы очутились въ дощатомъ отдѣленіи, отгороженномъ отъ просторной избы. Впереди всѣхъ вошла тетушка, а за нею Борисъ внесъ ея шкатулку. Потомъ вошли мы съ кузеномъ и няни.

Шкатулку поставили на столъ, а на нее поставили жестяной оплывшій саломъ подсвѣчникъ съ небольшимъ огаркомъ, котораго могло достать на одинъ часъ, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчасъ же обратилась къ этому предмету, т. е. къ свѣчкѣ.

— Прежде всего,—сказала она Селивану:—принеси-ка мнѣ, батюшка, новую свѣчку.

— Вотъ свѣчка.

— Нѣтъ, ты дай новую, цѣлую!

— Новую, цѣлую?—переспросилъ Селиванъ, опираясь одною рукою на столъ, а другою о шкатулку.

— Давай поскорѣй новую, цѣлую свѣчку.

— Зачѣмъ тебѣ цѣлую?

— Это не твое дѣло,—я не скоро спать лягу. Можетъ-быть, буря пройдетъ—мы поѣдемъ.

— Вуря не пройдетъ.

— Ну все равно, я тебѣ за свѣчку заплачу.

— Знамо заплатила-бъ, да нѣтъ у меня свѣчки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположеннаго искать попусту!

Въ этотъ разговоръ вмѣшался неожиданно слабый-пре-слабый тонкій голосъ изъ-за перегородки.

— Нѣтъ у насъ, матушка, свѣчечки.

— Кто это говорить?—спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просіяли.—Близкое присутствіе женщины, казалось, имѣло что-то ободрительное.

— Что она больна, что ли?

— Больна.

— Чѣмъ?

— Хворостью.— Ложитесь, мнѣ огарокъ въ фонарь нуженъ. Надо лошадей ввестъ.

И какъ съ Селиваномъ ни разговаривали, онъ настоялъ на своемъ: что огарокъ ему необходимъ да и только. Онъ обѣщаль принести его снова,—но пока взялъ его и вышелъ.

Исполнилъ ли Селиванъ свое обѣщаніе принести назадъ огарокъ, — этого я уже не видѣлъ, потому что мы съ кузеномъ опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сонъ я слышалъ иногда шушуканье тетушки съ няней и улавливалъ въ этомъ шопотѣ чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другіе наши люди знали, что въ этомъ ларцѣ сокрыты большія драгоценности, и всѣ замѣтили, что шкатулка съ перваго же мгновенія остановила на себѣ алчное вниманіе нашего неблагонадежнаго хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью тетушка моя видѣла явную необходимость подчиняться обстоятельствамъ, но зато тотчасъ же сдѣлала соответственные опасному положенію распоряженія.

Чтобы Селиванъ не зарѣзалъ насъ, рѣшено было, чтобы никто не спалъ. Лошадей велѣно было выпрячь, но не снимать съ нихъ хомуты, и кучеру съ лакеемъ сидѣть обомъ въ повозкѣ: они не должны были разъединяться, потому что по одиночкѣ Селиванъ ихъ перебьетъ, и мы тогда останемся безпомощны. Тогда онъ убьетъ, конечно, и насъ, и всѣхъ насъ зароетъ подъ поломъ, гдѣ зарыто уже и безъ того множество жертвъ его лютой. Въ избѣ съ нами кучеръ и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиванъ обрѣжетъ гужи въ коренномъ хомутѣ, чтобы нельзя было запрячь лошадей, или совсѣмъ сдастъ всю тройку своимъ товарищамъ, которые у него пока гдѣ-то припрятаны. Въ такомъ случаѣ намъ не на чемъ будетъ и спасаться, между тѣмъ какъ очень можетъ статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучеръ станетъ запрягать, а Борисъ стукнетъ три раза въ стѣнку, и мы всѣ бросимся на дворъ, сядемъ и уѣдемъ. Для того, чтобы быть постоянно наготовѣ, и изъ насъ никто не раздѣвался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочихъ, но для насъ, двухъ спящихъ мальчиковъ, оно пролетѣло какъ одно мгновеніе, которое вдругъ завершилось ужаснѣйшимъ пробужденіемъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я проснулся оттого, что мнѣ стало невыносимо тяжело дышать. Открывъ глаза, я не увидалъ ничего ровно, потому что вокругъ меня было темно, но только въ отдаленіи что-то какъ будто сѣрѣло: это обозначалось окно. Но зато, какъ при свѣтѣ Селиванова фонаря я разомъ увидалъ лица всѣхъ бывшихъ на той ужасной сценѣ людей, такъ теперь я въ одно мгновеніе вспомнилъ все—кто я, гдѣ я, зачѣмъ я здѣсь, кто есть у меня милые и дорогіе въ отцовскомъ домѣ, — и мнѣ стало всего и всѣхъ жалко, и больно, и страшно, и мнѣ хотѣлось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человѣческою рукою, а на ухо трепетный голосъ шепталъ мнѣ:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли, — къ намъ ломятся.

Я узналъ теткинъ голосъ и пожалъ ея руку въ знакъ того, что я понимаю ея требованіе.

За дверями, которыя выходили въ сѣни, слышался шорохъ... кто-то тихо переступалъ съ ноги на ногу и водилъ по стѣнѣ руками... Очевидно, этотъ злодѣй искалъ, но никакъ не могъ найти двери...

Тетушка прижала насъ къ себѣ и прошептала, что Богъ намъ еще можетъ помочь, потому что въ дверяхъ ея устроено укрѣпленіе. Но въ это же самое мгновеніе, можетъ-быть, именно потому, что мы выдали себя своимъ шепотомъ и дрожью, за тесовой перегородкой, гдѣ была изба и откуда при разговорѣ о свѣчкѣ отзывалась жена Селивана, кто-то выбѣжалъ и сѣпился съ тѣмъ, кто тихо подкрадывался къ нашей двери, и они вдвоемъ начали ломиться; дверь затрепала, и къ нашимъ ногамъ полетѣли столъ, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а въ самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею котораго держались могучія руки Селивана...

Увидавъ это, тетушка закричала на Селивана и бросилась къ Борису.

— Матушка! Богъ спасъ,—хрипѣлъ Борисъ.

Селиванъ принялъ свои руки и стоялъ.

— Скорѣе, скорѣй воиъ отсюда!—заговорила тетушка.— Гдѣ наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотѣлъ васъ вызвать... А этотъ разбойникъ... Богъ спасъ, матушка! — лепетала скороговоркою Борисъ, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дорогѣ все, что попало. Всѣ врозь бросились къ двери, вскочили въ повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиванъ, казалось, былъ жестоко переконфуженъ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ. Онъ, очевидно, зналъ, что это не можетъ пройти безъ послѣдствій.

На дворѣ теперь свѣтало, и передъ нами на востокѣ горѣла красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Мы доѣхали до дому не болѣе какъ въ полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитыхъ нами страхахъ. Тетушка, няня, кучеръ и Борисъ всѣ перебивали другъ друга и безпрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасеніе. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей безпрестанно слышалось, какъ кто-то нѣсколько разъ подходилъ, пробовалъ отворить двери. Это и понудило ее загромоздить входъ всѣмъ, что попало подъ ея руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шопотъ за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что онъ не разъ тихонько отворялъ свою дверь, выходилъ въ сѣни и тихонько пробовалъ за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ея словамъ, минутами засыпала. Кучеръ и Борисъ видѣли болѣе всѣхъ. Боясь за лошадей, кучеръ не отходилъ отъ нихъ ни на минуту, но Борисушка не разъ подходилъ къ нашимъ дверямъ и всякій разъ, какъ подходилъ онъ, — сію же минуту появлялся изъ своихъ дверей и Селиванъ. Когда буря передъ разсвѣтомъ утихла, кучеръ и Борисъ тихонько запрягли лошадей и тихонько же выѣхали, сами отперевъ ворота; но когда Борисъ также тихо подошелъ опять къ нашей двери, чтобы насъ вывести, тутъ Селиванъ увидалъ, что добыча уходитъ у него изъ рукъ, бросился на Бориса и началъ его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось и онъ теперь уже не отдѣляется одними подозрѣніями, какъ отдѣлялся до сихъ поръ: его злыя намѣренія были слишкомъ ясны и слишкомъ очевидны, и все это провходило не съ глазу на глазъ съ какимъ-ни-

будь однимъ человѣкомъ, а при шести свидѣтеляхъ, изъ которыхъ тетушка одна стояла по своему значенію нѣсколькихъ, потому что она слыла во всемъ городѣ умницею и къ ней, несмотря на ея среднее состояніе, завѣзжалъ съ визитами губернаторъ, а нашъ тогдашній исправникъ былъ ей обязанъ устройствомъ своего семейнаго благополучія. По одному ея слову, онъ, разумѣется, сейчасъ же возьмется разслѣдовать дѣло по горячимъ слѣдамъ, и Селивану не миновать петли, которую онъ думалъ накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались такъ, что все собиралось къ немедленному отпущенію за насъ Селивану и къ наказанію его за звѣрское покушеніе на нашу жизнь и имущество.

Подъѣзжая къ своему дому, за рощищемъ на горѣ, мы встрѣтили верхового парня, который, завидѣвъ насъ, чрезвычайно обрадовался, заболталъ ногами по бокамъ лошади, на которой ѣхалъ, и, снявъ издали шапку, подскакалъ къ намъ съ сіяющимъ лицомъ и началъ рапортовать тетушкѣ, какое мы причинили дома всѣмъ безпокойство.

Оказалось, что отецъ, мать и всѣ домашніе тоже не спали. Насъ непремѣнно ждали, и съ тѣхъ поръ, какъ вечеромъ начала разыгрываться метель, всѣ были въ большой тревогѣ — не сблизилъ ли мы съ дороги или не случилось ли съ нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться въ ухабѣ оглобля, — могли напасть волки... Отецъ высылалъ навстрѣчу намъ нѣсколько человѣкъ верховыхъ людей съ фонарями, но буря рвала изъ рукъ и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никакъ не могли отбиться отъ дома. Топочется человѣкъ очень долго, — все ему кажется, будто онъ ѣдетъ противъ бури, и вдругъ остановка и лошадь ни съ мѣста даѣе. Съдокъ ее понуждаетъ, хотя и самъ едва дышитъ отъ задухи, но конь не идетъ... Верникъ слѣзетъ, чтобы взять за поводъ и провести оробѣвшее животное, и вдругъ, къ удивленію своему, открываетъ, что лошадь его стоитъ, упершись лбомъ въ стѣну конюшни или сарая... Только одинъ изъ развѣдчиковъ уѣхалъ немножко даѣе и имѣлъ настоящую дорожную встрѣчу: это былъ шорникъ Прохоръ. Ему дали выносную фореиторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, такъ что желѣзо до губъ ея не допиралось, и ей черезъ то ста-

повились нечувствительны никакія удержки. Она и понесла Прохора въ самый адъ метели, и скакала долго, брыкая задомъ и загибая голову къ переднимъ колѣнамъ, пока, наконецъ, при одномъ такомъ вольтѣ, шорникъ перелетѣлъ черезъ ея голову и всею своею фигурою ввалился въ какую-то странную кучу живыхъ людей, не оказавшихъ, впрочемъ, ему съ перваго раза никакого дружелюбія. Напротивъ, изъ нихъ кто-то тутъ же снабдилъ его тумакомъ въ голову, другой сдѣлалъ поправку въ спину, а третій сталь мять ногами и приталкивать чѣмъ-то холоднымъ, металлическимъ и крайне неудобнымъ для ощущенія.

Прохоръ былъ малый не промахъ,—онъ понялъ, что имѣеть дѣло съ особенными существами, и неистово закричалъ.

Испытываемый имъ ужасъ, вѣроятно, придавъ его голоу особенную силу, и онъ былъ немедленно услышанъ. Для спасенія его тутъ же, въ трехъ отъ него шагахъ, показалось «огненное свѣщеніе». Это былъ огонь, который выставили на окнѣ въ нашей кухнѣ, подъ стѣною которой пріютились исправникъ, его писмоводитель, разсылный солдатъ и ящикъ съ тройкою лошадей, увязавшихъ въ сугробѣ.

Они тоже сбились съ дороги и, попавъ къ нашей кухнѣ, думали, что находится гдѣ-то на лугу у сѣннаго омета.

Ихъ отконали и просили кого на кухню, кого въ домъ, гдѣ исправникъ теперь и купалъ чай, собираясь поспѣть къ своимъ въ городъ ранѣе, чѣмъ они проснутся и встретятся его отсутствіемъ послѣ такой ненастной ночи.

— Вотъ это прекрасно,—сказала тетунка:—исправникъ теперь всѣхъ нужиѣ.

— Да! онъ баринъ хватскій,—онъ Селиванкѣ задастъ!—подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили къ дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчасъ исправнику все расскажутъ и черезъ полчаса разбойникъ Селиванъ будетъ уже въ его рукахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Мой отецъ и исправникъ были поражены тѣмъ, что мы перенесли въ дорогѣ и особенно въ разбойничьемъ домѣ Селивана, который хотѣлъ насъ убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами.

Кстати о деньгахъ. При упоминаніи о нихъ, тетушка сейчасъ же воскликнула:

— Ахъ, Боже мой! да гдѣ же моя шкатулка?

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же эта шкатулка и лежація въ ней тысячи?

Представьте себѣ, что ея не было! Да, да, ея-то одной только и не было ни въ комнатахъ между внесенными вещами, ни въ повозкѣ, — словомъ нигдѣ... Шкатулка, очевидно, осталась тамъ и теперь—въ рукахъ Селивана... Или... можетъ-быть даже онъ ее еще ночью выкралъ. Ему вѣдь это было возможно; онъ, какъ хозяинъ, могъ знать всѣ шелки своего дрянного дома, и этихъ щелокъ у него навѣрно не мало... Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка въ перегородкѣ.

И едва только опытнымъ въ выслѣживаніи разбойничьихъ дѣлъ исправникомъ было высказано послѣднее предположеніе о приставной дощечкѣ, которую Селиванъ могъ ночью тихонько отставить и черезъ нее утащить шкатулку, какъ тетушка закрыла руками лицо и упала въ кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее въ уголокъ подъ лавкою, которая прихотилась къ перегородкѣ, отдѣляющей наше ночное помѣщеніе отъ той части избы, гдѣ оставался самъ Селиванъ съ его женою...

— Ну, вотъ оно и есть!—воскликнулъ, радуясь вѣрности своихъ опытныхъ соображеній, исправникъ.—Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ея не хватился, когда вамъ пришло время ѣхать.

— Да, Боже мой! мы были всѣ въ такомъ страхѣ!—стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вамъ вѣрю,—говорилъ исправникъ: — вамъ было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такія хорошія деньги. Я сейчасъ скачу, скачу туда... Онъ вѣрно уже скрылся куда-нибудь, но онъ отъ меня не уйдетъ! Наше счастье, что всѣ знаютъ, что онъ воръ, и всѣ его не любятъ: его никто не станетъ скрывать... А впрочемъ, — теперь у него въ рукахъ есть деньги... онъ можетъ дѣлиться... Надо спѣшить... Народъ вѣдь шельма... Прощайте, я ѣду. А вы успокойтесь, примите капли... Я ихъ воровскую натуру знаю и увѣряю васъ, что онъ будетъ пойманъ.

И исправникъ опоясался своею саблею. какъ вдругъ въ передней послышалось между бывшими тамъ людьми необыкновенное движеніе и... черезъ порогъ въ залу, гдѣ всѣ мы находились, тяжело дыша, вошелъ Селиванъ съ тетушкиной шкатулкой въ рукахъ.

Всѣ вскочили съ мѣстъ и остановились какъ вкопанные...

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнесъ Селиванъ.

Болѣе онъ ничего не могъ говорить, потому что совсѣмъ задышался отъ непомѣрно скорой ходьбы и, можетъ-быть, отъ сильнаго внутренняго волненія.

Онъ поставилъ шкатулку на столъ, а самъ, никѣмъ не прощенный, сѣлъ на стулъ и опустилъ голову и руки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Шкатулка была въ полной цѣлости. Тетушка сняла съ шеи ключикъ, отперла ее и воскликнула:

— Все, все какъ было!

— Сохранно, — тихо молвилъ Селиванъ. — Я все бѣгъ за вами... хотѣлъ догнать... не сдужалъ.. Простите, что сижу передъ вами... задохнулся.

Отецъ первый подошелъ къ нему, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.

Селиванъ не трогался.

Тетушка вынула изъ шкатулки двѣ сотенныя бумажки и стала давать ихъ ему въ руки.

Селиванъ продолжалъ сидѣть и смотрѣть, словно ничего не понималъ.

— Возьми, что тебѣ даютъ, — сказалъ исправникъ.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберегъ и принесть забытыя у тебя деньги.

— А то какъ же? Развѣ надо не честно?

— Ну ты... хорошій человекъ... ты не подумалъ утаить чужое.

— Утаить чужое! — Селиванъ покачалъ головою и добавилъ: — мнѣ не надо чужого.

— Но вѣдь ты бѣднень, — возьми это себѣ на поправку! — ласкала его тетушка.

— Возьми, возьми, — убѣждалъ его мой отецъ. — Ты имѣешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про законъ, по которому всякій, кто найдеть и возвратитъ потерянное, имѣеть право на третью часть находки.

— Что такой за законъ, — отвѣчалъ онъ, снова отстраняя отъ себя тетушкину руку съ бумажками. — Чужою бѣдою не разживешься... Не надо! — прощайте!

И онъ всталъ съ мѣста, чтобы идти назадъ къ своему спороченному дворнику, но отецъ его не пустил: онъ взялъ его къ себѣ въ кабинетъ и заперся тамъ съ нимъ на ключъ, а потомъ черезъ часъ велѣлъ запрячь сани и отвезти его домой.

Черезъ день объ этомъ происшествіи знали въ городѣ и въ округѣ, а черезъ два дня отецъ съ тетушкою поѣхали въ Кромы и, остановясь у Селивана, пили въ его избѣ чай и оставили его женѣ теплую шубу. На обратномъ пути они опять заѣхали къ нему и еще привезли ему подарковъ: чаю, сахару и муки.

Онъ бралъ все вѣжливо, но неохотно, и говорилъ:

— На что? Ко мнѣ теперь, вотъ уже три дня, все стали люди заѣзжать... пошелъ доходъ... щи варили... Насъ не боятся, какъ прежде боялись.

Когда меня повезли послѣ праздниковъ въ пансіонъ, со мною опять была къ Селивану посылка, и я шилъ у него чай и все смотрѣлъ ему въ лицо и думалъ:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же онъ мнѣ и другимъ такъ долго казался *пугаломъ*?»

Эта мысль преслѣдовала меня и не оставляла въ покоѣ... Вѣдь это тотъ же самый человѣкъ, который всѣмъ представлялся такимъ страшнымъ, котораго всѣ считали коздуномъ и злодѣемъ. И такъ долго все выходило похоже на то, что онъ только тѣмъ и занятъ, что замышляетъ и устраиваетъ злодѣянія. Отчего же онъ вдругъ сталъ такъ хорошъ и приятенъ?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Я былъ очень счастливъ въ своемъ дѣтствѣ въ томъ отношеніи, что первые уроки религіи мнѣ были даны превосходнымъ христіаниномъ. Это былъ орловскій священ-

никъ, Остромысленій, — хорошій другъ моего отца и другъ всѣхъ насъ, дѣтей, которыхъ онъ умѣлъ научить любить правду и милосердіе. Я не рассказывалъ товарищамъ ничего о томъ, что произошло съ нами въ Рождественскую ночь у Селивана, потому что во всемъ этомъ не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротивъ, надъ моимъ страхомъ можно было посмѣяться, но я открылъ всѣ мои приключенія и сомнѣнія отцу Ефиму.

Онъ меня поласкалъ рукою и сказалъ:

— Ты очень счастливъ; твоя душа въ день Рождества была—какъ ясли для Святого Младенца, который пришелъ на землю, чтобъ пострадать за несчастныхъ. Христосъ озарилъ для тебя тьму, которою окутывало твое воображеніе—пусторѣчіе темныхъ людей. Пугало было не Селиванъ, а вы сами,—ваши къ нему подозрительность, которая никому не позволяла видѣть его добрую совѣсть. Лицо его казалось вамъ темнымъ, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы въ другой разъ не быть такимъ же слѣпымъ.

Это былъ совѣтъ умный и прекрасный. Въ дальнѣйшіе годы моей жизни я сблизился съ Селиваномъ и имѣлъ счастье видѣть, какъ онъ у всѣхъ сдѣлался человѣкомъ любимымъ и почетнымъ.

Въ новомъ имѣніи, которое купила тетушка, былъ хорошій постоянный дворъ на проѣзжемъ трактовомъ пунктѣ. Этотъ дворъ она и предложила Селивану на хорошихъ для него условіяхъ, и Селиванъ это принялъ и жилъ въ этомъ дворѣ до самой своей кончины. Тутъ сбылись мои давніе дѣтскіе сны: я не только близко познакомился съ Селиваномъ, но мы питали одинъ къ другому полное довѣріе и дружбу. Я видѣлъ, какъ измѣнилось къ лучшему его положеніе, — какъ у него въ домѣ водворилось спокойствіе и мало-по-малу заводился достатокъ; какъ вмѣсто прежнихъ хмурыхъ выраженій на лицахъ людей, встрѣчавшихъ Селивана, теперь всѣ смотрѣли на него съ удовольствіемъ. И дѣйствительно, вышло такъ, что какъ только просвѣтились очи окружавшихъ Селивана, такъ сдѣлалось свѣтлымъ и его собственное лицо.

Изъ тетушкиныхъ людей, Селивана особенно не любилъ лакей Ворисушка, котораго Селиванъ чуть не задушилъ въ ту памятную намъ Рождественскую ночь.

Надъ этой исторіей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тѣмъ, что какъ у всѣхъ было подозрѣніе — не ограбилъ бы тетушку Селиванъ, такъ точно и Селиванъ имѣлъ сильное подозрѣніе: не завезли ли насъ кучеръ и лакей на его дворъ нарочно съ тѣмъ умысломъ, чтобы украсть здѣсь ночью тетушкины деньги и потомъ свалить все удобнѣйшимъ образомъ на подозрительнаго Селивана.

Недовѣріе и подозрительность съ одной стороны вызывали недовѣріе же и подозрѣнія — съ другой, — и всѣмъ казалось, что всѣ они — враги между собою и всѣ имѣютъ основаніе считать другъ друга людьми, склонными ко злу.

Такъ всегда зло родитъ другое зло и побѣждается только добромъ, которое, по слову Евангелія, дѣлаетъ око и сердце наше чистыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Остается досказать, отчего же, однако, съ тѣхъ поръ, какъ Селиванъ ушелъ отъ калачника, онъ сталъ угрюмъ и скрытенъ? Кто тогда его огорчилъ и оттолкнулъ?

Отецъ мой, будучи расположенъ къ этому доброму человѣку, все-таки думалъ, что у него есть какая-то *тайна*, которую Селиванъ упрочно скрываетъ.

Это такъ и было, но Селиванъ открылъ свою тайну одной только тетушкѣ моей и то послѣ нѣсколькихъ лѣтъ жизни въ ея имѣніи и послѣ того, когда у Селивана умерла его всегда болѣвшая жена.

Когда я разъ пріѣхалъ къ тетушкѣ, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиванѣ, который и самъ незадолго передъ тѣмъ умеръ, то тетушка рассказала мнѣ его тайну.

Дѣло заключалось въ томъ, что Селиванъ, по нѣжной добротѣ своего сердца, былъ тронутъ горестной судьбою безпомощной дочери умершаго въ ихъ городѣ отставнаго палача. Дѣвочку эту никто не хотѣлъ пріютить, какъ дитя человѣка презрѣннаго. Селиванъ былъ бѣденъ и притомъ онъ не могъ рѣшиться держать у себя палачеву дочку въ городкѣ, гдѣ ее и его всѣ знали. Онъ долженъ былъ скрывать отъ всѣхъ ея происхожденіе, въ которомъ она была

неповинна. Иначе она не избѣжала бы тяжкихъ попрековъ отъ людей, неспособныхъ быть милостивыми и справедливыми. Селиванъ скрывалъ ее потому, что постоянно боялся, что ее узнаютъ и оскорбятъ, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на немъ отпечатѣлись.

Такъ, каждый, кто называлъ Селивана «пугаломъ», въ гораздо бѣльшей мѣрѣ самъ былъ для него «пугаломъ».



ФИГУРА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда я еще просвѣщался въ Кіевѣ и въ отдаленныхъ думяхъ не имѣлъ заниматься писательствомъ, у меня завязалось одно знакомство съ бѣднымъ, но благороднымъ семействомъ, жившимъ въ маленькомъ собственномъ домикѣ въ самомъ отдаленномъ краю города, близъ упраздненнаго Кирилловскаго монастыря. Семейство состояло изъ двухъ пожилыхъ сестеръ, двѣвухекъ, и изъ третьей—старушки, ихъ тетки, —тоже двѣвухки. Жили онѣ скромно на очень маленькую пенсію и на доходъ отъ своихъ коровъ и отъ своего огорода. Въ гостяхъ у нихъ бывали только три человѣка: извѣстный русскій аболіціонистъ Дмитрій Петровичъ Журавскій, я и еще оригинальный, съ виду совсѣмъ похожій на крестьянина, человѣкъ, котораго фамилія была *Фигура*, но всѣ называли его «Фигура».

Объ немъ здѣсь и будетъ поминальная рѣчь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Фигура или, по малороссійскому простому выговору, «Хвыгура» во время моего знакомства имѣлъ лѣтъ около шестидесяти, но обладалъ еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Онъ имѣлъ огромный ростъ и атлетическое сложеніе: волосы у него были густые, коричневыя, почти безъ просѣди, но усы «сивые». По собственному его выраженію, онъ «сививъ зъ морды—

якъ песъ», т. е. сѣдѣлъ, начиная не съ головы, а съ усовъ—какъ сѣдѣютъ старыя собаки. Борода у него тоже была бы сѣдая, но онъ ее брилъ. Глаза у Фигуры были большіе, сѣрые съ поволокою, губы румяныя, цвѣтъ лица смуглый и загорѣлый. Взглядъ его имѣлъ выраженіе смѣлое, умное и съ отѣнкомъ затаенной малороссійской проиіи.

Жилъ Фигура совершеннымъ, настоящимъ подгороднымъ мужикомъ, на предмѣстїи Куриневкѣ, «у своей господѣ», т. е. въ собственной усадьбѣ и при собственномъ хозяйствѣ, которое велъ въ сотрудицествѣ молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работала своими собственными руками и все содержала въ простомъ, но безукоризненномъ порядкѣ. Онъ самъ «копалъ огородъ», самъ его воздѣлывалъ и засѣвалъ овощами и самъ же вывозилъ эти овощи на Подоль, на Житній базаръ, гдѣ становился со своею телѣгою въ ряду съ другими прїѣзжими мужиками и продавалъ свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и рѣпку.

Торговалъ Фигура лучше другихъ потому, что его овощи всегда отличались лучшимъ достоинствомъ. Особенно славились его нѣжныя и сладкія тыквы, чрезвычайно большихъ размѣровъ, доходившія иногда до шуда вѣса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольскаго Житняго базара знали, что «протъ Хыгуры вже не учкнешъ»,—т. е. лучше его ни у кого не достанешъ, — но онъ не любилъ продавать перекупкамъ «щобъ людей не мордовали», а продавалъ прямо «людямъ», т. е. прямымъ потребителямъ.

Къ перекупамъ и перекупкамъ Фигура «мавъ зуба» (имѣлъ зубъ), и любилъ проникать хитрости этихъ людей и ихъ вышучивать. Какъ бывало перекупъ или перекупка ни переодѣнутся, или кого ни подошлютъ къ возу съ подсылломъ, чтобы забрать товаръ у Фигуры, — онъ, бывало, это сейчасъ проникнетъ и на вопросъ «почемъ копѣ» — отвѣчаетъ:

— По деньгамъ, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсылный станетъ увѣрять, что онъ простой

человѣкъ и торгуеть «для себѣ», то Фигура, не вынимая изъ губъ трубки, скажетъ ему:

— Эге! ну не юлы—бо не покуришь!—и больше не станеть разговаривать.

Фигуру всѣ знали на базарѣ и знали, что онъ «якъ бы то не съ простыхъ людей, а тильки опростывся» но настоящаго его чина и званія и того—почему онъ такъ «опростывся»—не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не зналъ, а настоящаго его чина и теперь не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Домикъ у Фигуры былъ обыкновенная малороссійская мазанка, раздѣленная, впрочемъ, на комнатку и кухню. Ълъ онъ пищу всегда растительную и молочную, но самую простую—крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замѣчательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», т. е. дѣвушка, имѣющая дитя. Дитя это была прехорошенькая дѣвочка, по имени Катря. По сосѣдству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это дѣлалъ гримасу и, пыхнувъ губами, отвѣчалъ:

— Такъ-то оно и есть що моя! Правда, що якъ Богъ мени давъ щасте, що-бъ ее кормить, то тимъ вона теперечки моя,—а кто ее на свить бидовать пустивъ, то я вже того добродія не знаю. Але якъ кто хоче — нехай такъ и ліче: якъ моя—то нехай моя,—мени все едино.

Но насчетъ Катри еще немножко сомнѣвались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры безъ всякихъ сомнѣній.

Фигура и къ этому тоже пребывалъ равнодушенъ, и если ему кто-нибудь Христей подшучивалъ, такъ онъ отвѣчалъ только:

— А вамъ хоба завидно?

Зато же и Фигура, и Христя, да и пи въ чемъ неповинная Катря несли епитимію: изъ нихъ трехъ никто не употреблялъ въ пищу ни мяса, ни рыбъ—словомъ ничего, имѣющаго сознаніе жизни.

Куриневскія жинки знали, за что эта епитимія положена. Фигура же только усмѣхался и говорилъ:

— Дуры!

<http://rcin.org.pl>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отношенія у Христя съ Фигурою были премилыя, но такія, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась въ домѣ не какъ наймычка при хозяйкѣ, а какъ будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» изъ колодца, мыла полы и хату мазала, и бѣлье стирала и шила себѣ, Катрѣ и Фигурѣ, но коровъ не доила, потому что коровы были «мощныя», и ихъ выдаивалъ самъ Фигура соотвѣтственными къ сему великомощными руками. Обѣдали они всѣ трое за однимъ столомъ, къ которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а въ праздники пили сушенныя вишни или малину—и опять всѣ за однимъ столомъ. Гости у нихъ бывали только тѣ пожилыя барышни, Журавскій, да я. При насъ Христя «бигала и митусилась», т. е. хлопотала, и ее съ трудомъ можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтобъ уходить, Христя быстро срывалась съ мѣста и неудержимо стремилась подавать всѣмъ верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ея услугамъ, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; онъ говорилъ гостямъ:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одѣть и обуть якъ слидь по закону». Въ этомъ была «ея присяга» — ея служебное назначеніе, которому простодушная красавица оставалась преданною и вѣрною.

Въ разговорѣ между собою Фигура и Христя относились другъ къ другу въ разныхъ формахъ: Фигура говорилъ ей «ты» и называлъ ее Христино, или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Дѣвочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой»... Катрѣ было девять лѣтъ, и она была вся въ мать—красавица.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственныхъ связей ни у Фигуры, ни у Христя никакихъ не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, изъ которыхъ одинъ служилъ даже въ университетѣ про-

фессоромъ,—по нашъ курпневскій Фигура съ этими Впгурами никакихъ сношеній не имѣлъ — «бо вони зъ панами знались», а это, по мнѣнію Фигуры, не то что не хорошо, а «якось—не до шмыги» (т. е. не идетъ ему).

— Богъ ихъ церковный знаетъ: они вже може яки ассесоры, чи якись таки сяки совѣтники, а мы, якъ и зъ рыла бачите—изъ простыхъ свиней.

Въ основѣ же своего характера и всѣхъ поступковъ курпневскій Фигура былъ такая оригинальная личность, что даже снимаетъ всю нелѣпость съ пословицы, внушающей цѣнить человѣка битаго—дороже небитаго.

Вотъ одинъ его поступокъ, имѣвшій значеніе для всей его жизни, которая черезъ этотъ самый поступокъ и опредѣлилась. О немъ едва ли кто зналъ и едва ли знаетъ, а я объ этомъ слышалъ отъ самого Фигуры и черескажу, какъ помню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Я жилъ въ Кіевѣ, въ очень многолюдномъ мѣстѣ, между двумя храмами — Михайловскимъ и Софійскимъ, — и тутъ еще стояли тогда двѣ деревянныя церкви. Въ праздники здѣсь было такъ много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всѣмъ улицамъ, сходящимъ къ Крещатику, были кабаки и пивныя, а на площадкѣ балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такіе дни къ Фигурѣ. Тамъ была тишина и покой: играло на травкѣ красивое дитя, свѣтили добрыя женскія очи, и тихо разговаривалъ всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Разъ я ему и сталъ жаловаться на безпокойство, ~~поза~~ранку начавшееся въ моемъ кварталѣ, а онъ отвѣчаетъ:

— И не говорите. Я самъ нашего русскаго празднованія съ дѣтства переносить не могу, и все до сихъ поръ боюсь: какъ бы какой бѣды не было. Бывало, насъ кадетами проводятъ подъ качели и еще говорятъ: «смотрите — это народное!» А мнѣ еще и тогда казалось: что тутъ хорошаго — хоть бы это и народное! У Исаи пророка читается: «праздники ваши ненавидитъ душа Моя», — и я недаромъ имѣлъ предчувствіе, что со мною когда-нибудь въ этомъ разгулѣ дурное случится. Такъ и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите... это еще, когда вы у бабушки въ рукавѣ сидѣли,—тогда у насъ были двѣ арміи: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служилъ подѣ Сакеномъ... Вотъ тотъ самый Ероѣенчъ, что и теперь еще все акаѣисты читаесть *). Великій, Богъ съ нимъ, былъ богомолецъ, все на колѣняхъ молился, а то еще на полѣ ляжетъ и лежить, и лежить долго, и куда ни идетъ, и что ни беретъ — все крестится. Ему тогда и многіе другіе въ этомъ въ арміи старались подражать, и заискивали, чтобъ онъ ихъ видѣлъ... Которые умѣли—хорошо выходило... И мнѣ это разъ помогло такъ, что я за это до сихъ поръ пенсію получаю. Вотъ какимъ это было случаемъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Полкъ нашъ стоялъ на югѣ, въ городѣ, — тутъ же былъ и штабъ сего Ероѣенча. И попало мнѣ идти въ караулъ къ погребамъ съ порохомъ, подѣ самое Свѣтлое Воскресенье. Заступилъ я караулъ въ двѣнадцать часовъ дня въ чистую субботу и стоять мнѣ до двѣнадцати часовъ въ Воскресенье.

Со мною мои армейскіе солдаты, сорокъ два человекъ, и шесть объѣздныхъ казаковъ.

Сталь надходить вечеръ, и мнѣ вдругъ начало дѣлаться чего-то очень грустно. Молодой человекъ былъ, и привязанности были семейныя. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное и драгоцѣннѣйшее — мати... мати моя добродѣтельница!.. Чудесная у меня была мати, — предобрая и пренепорочная, — добромъ окрытая и въ добрѣ повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человекъ, ни животнаго, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала изъ сожалѣнія къ животнымъ. Отецъ, бывало, спорить: «Помилуй, скажи: сколько-жъ ихъ разродится? Дѣваться будетъ некуда». А она отвѣчаетъ: «Ну это еще когда-то будетъ, а я этихъ сама выкормила, такъ они мнѣ какъ родныя. Я не могу своихъ родныхъ ѣсть». И у сосѣдей не ѣла: «этихъ, говорила, я живыхъ видѣла: они мнѣ знакомые, — не могу ѣсть своихъ знакомыхъ». А потомъ и незнакомыхъ не стала кушать. «Все равно, го-

*) Сакенъ тогда еще былъ живъ.

ворить, съ ними убійство сдѣлано». Священникъ ее уговаривалъ, что «это отъ Бога показано», и въ требникѣ на освященіе мясовъ молитву показывалъ, но ее не переспорилъ. «Ну, и хорошо,—отвѣчала она:—якъ вы прочитали, то вы и кушайте». Священникъ сказалъ отцу, что это все дѣлаютъ какія-нибудь «пониряющія въ дома и прельщающія женища, всегда учащеса и николи же въ разумъ придти могущія». А мать говоритъ отцу: «Се пустое: я никакихъ пониряющихъ не знаю, а такъ просто противно мнѣ, чтобы одно другое поѣдало».

Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно, — непремѣнно разстроюсь. Такъ случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вотъ она теперь всѣхъ провожаетъ въ село, съ вечера на заутреню, а сама сиротокъ оберегетъ, неодѣтыхъ, невычесанныхъ, — всѣхъ сама у печки перемоетъ, головенки имъ вычешетъ и чистыя рубахи надѣнетъ... Какъ съ ней радостно! Если бы я не дворянинъ былъ, я при ней бы и жилъ, и работалъ бы, а не въ караулѣ стоялъ. Что мы такое караулимъ?.. Все для смертнаго бою... А, впрочемъ, что я такъ очень скучаю... — Стыдно!... Я вѣдь жалованье за службу получаю и чиновъ заслуживаю, а вонъ солдатъ — онъ совсѣмъ безнадежный человѣкъ, да еще бьютъ его безъ милосердія, — ему куда для сравненія тяжело... а вѣдь живетъ же, терпитъ и не кукнется... Бодрости себѣ надо поддаты — все и пройдетъ. Что, думаю, самое лучшее можетъ человѣкъ сдѣлать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходитъ въ голову, и наконецъ опять самое ясное приходитъ отъ матери: она, бывало, говоритъ: «когда самому худо, тогда поспѣши къ тѣмъ, кому еще хуже, чѣмъ тебѣ»... Ну, вотъ, солдатамъ хуже, чѣмъ мнѣ...

«Давай, думаю, я чѣмъ-нибудь солдатъ бѣдныхъ обрадую! Угощу ихъ, что ли, чаемъ напою, — разговѣюсь съ ними на мои гроши!»

Понравилось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я позвалъ вѣстового, даю ему изъ своего кошелька денегъ и посылаю, чтобы купилъ четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенокъ (60 красныхъ яицъ),

да хлѣба шафраннаго на все, сколько останется. Прибавилъ бы еще болѣе, да у самого не было.

Вѣстовой сѣвгалъ и все принесъ, а я сѣлъ къ столику, колю и раскладываю по кусочкамъ сахаръ—и очень занялся тѣмъ: по сколько кусковъ на всѣхъ людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчасъ, какъ я этимъ занялся, такъ и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу, да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди—съ ними никто не нѣжничаетъ,—имъ и это участіе пріятно будетъ. Какъ услышу, что отсутный звонъ прозвонятъ, и люди изъ церкви пойдутъ, я поздороваюсь—скажу: «ребята! Христось воскрес!» и предложу имъ это мое угощеніе.

А стояли мы въ караулѣ за городомъ, какъ всегда пороховые погреба бывають вдалекѣ отъ жилья, а кордегардіей у насъ служили сѣни одного пустого погреба, въ которомъ въ эту пору пороху не было. Тутъ въ сѣняхъ и солдаты, и я,—часовые наружи, а казаки—трое съ солдатами, а трое въ разѣздъ уѣхали.

Изъ города намъ, однако, звонъ слышенъ, и огни госкакъ мелькають. Да и по часамъ я сообразилъ, что уже время церковной службѣ непременно скоро кончиться,—скоро, должно быть, наступитъ пора поздравлять и потчивать. Я всталъ, чтобы обойти посты, и вдругъ слышу шумъ... дерутся... Я—туда, а мнѣ летитъ что-то подъ ноги, и въ ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да—настоящую пощечину и трахъ,—съ одного плеча эполета прочь!

— Что такое?.. Кто меня бьетъ?

И главное дѣло—темно.

— Ребята! кричу,—братцы! Что это дѣлается?

Солдаты узнали мой голосъ и отвѣчаютъ:

— Казаки, ваше благородіе, винища облопались!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И васъ, ваше благородіе, это казакъ по мордѣ ударилъ. Вонъ онъ и есть—въ ногахъ лежитъ безъ памяти, а двухъ тамъ на погребницѣ вяжутъ. Рубиться хотѣли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Все вдругъ въ головѣ у меня засуетилось и перепуталось

лось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрѣлъ не своими глазами, а какъ задолбилъ, и разсужденіе тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, какъ принято. «Тебя ударили — такъ это безчестіе, а если ты побьешь на отместку — тогда ничего, — тогда это тебѣ честь»... Убить его, этого казака, я долженъ!.. зарубить его на мѣстѣ!.. А я не зарубилъ. Теперь куда же я годенъ? Я битый по щекамъ офицеръ. Все, значить, для меня кончено?.. Кинусь—заколю его! Непремѣнно надо заколоть! Онъ вѣдь у меня честь взялъ, онъ всю карьеру мою испортилъ. Убить! за это сейчасъ убить его! Судь оправдаетъ или не оправдаетъ, но честь спасена будетъ.

А въ глубинѣ кто-то и говоритъ: «не убій!» Это я понимаю кто! — Это такъ Богъ говоритъ: на это у меня, въ душѣ моей, явилось удостовѣреніе. Такое, знаете, крѣпкое, несомнѣнное удостовѣреніе, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Богъ! Онъ вѣдь старше и выше самого Сакена. Сакенъ откомандуетъ, да когда-нибудь со звѣздой въ отставку выйдетъ, а Богъ-то вѣки-вѣковъ будетъ всей вселенной командовать! А если Онъ мнѣ не позволяетъ убить того, кто меня билъ, такъ что мнѣ съ нимъ дѣлать? Что сдѣлать? Съ кѣмъ посоветуюсь?.. Всего лучше съ Тѣмъ, Кто самъ это вынесъ. Исусъ Христосъ!.. Тебя Самого били?.. Тебя били, и Ты простишь... а я что предъ Тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть Твой: я простишь! я Твой...

Вотъ только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думаютъ, что я это отъ обиды, а я уже, — понимаю... я уже совсѣмъ не отъ обиды...

Солдаты говорятъ:

— Мы его уьемъ!

— Что вы!.. Богъ съ вами!.. Нельзя человѣка убивать!

Спрашиваю старшаго: куда его дѣли?

— Мы, говорятъ, — ему руки связали и въ погребъ его бросили.

— Развяжите его скорѣе и приведите сюда.

Пошли его развязать и вдругъ дверь изъ погреба наотмашь распахнулась, и этотъ казакъ летитъ на меня прямо, какъ по воздуху, и, точно снапъ, опять упалъ въ ноги и вопить:

— Ваше благородіе!.. я несчастный человѣкъ!..

— Конечно, говорю,—несчастный.

— Что со мною сдѣлал!..

И плачетъ горестно такъ, что даже реветъ.

— Встань!—говорю.

— Не могу встать, я еще въ изступленіи...

— Отчего ты въ изступленіи?

— Я непитуцій, а меня напоили!.. У меня дома жена молодая и дѣтки!.. и отцы старички старые!.. Что я надѣлал!..

— Кто тебя упоилъ?

— Товарищи, ваше благородіе, — заставили за живыхъ и за мертвыхъ въ перезвонъ пить!.. Я непитуцій!

И рассказалъ, что заѣхали они въ шинокъ, и стали его товарищи неволить — выпить для Свѣтлаго Христова Воскресенія, въ самый первый звонъ, — чтобы всѣмъ живымъ и умершимъ «легонько взгадалось», — одинъ товарищъ поднесъ ему чару, а другой — другую, а третью онъ уже самъ купилъ и другихъ потчивалъ, а дальше не помнить, что ему пришло въ голову на меня броситься и ударить, и эполетъ сорвать.

Вотъ вамъ и приключеніе! Теперь валяется въ ногахъ, плачетъ, какъ дитя, и весь хмель сошелъ!.. Стонетъ:

— Дѣтки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка несчастная!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Убивается бѣдняга, и люди всѣ на него смотрятъ, и — вижу и имъ тягостно, а мнѣ еще болѣе всѣхъ тяжело. А межъ тѣмъ какъ я немножко раздумался, сердце-то у меня ужъ назадъ пошло: разсуждать опять начинаю: ударъ онъ меня наединѣ, я и минуты бы одной не колебался — сказалъ бы: «иди съ миромъ и впередъ такъ не дѣлай». Но вѣдь это все произошло при подначальныхъ людяхъ, которымъ я долженъ подавать первый примѣръ!..

И вдругъ это слово опять меня спасительно уловляетъ!.. какой-токой намъ поданъ *первый примѣръ*? Я вѣдь не могу же это забыть!.. я вѣдь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а притомъ ему совѣтъ напротивъ надъ людьми дѣлать!..

«Нѣтъ, думаю, этого нельзя: я спутался, — лучше я

отстраню отъ себя это пока... хоть на-время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взявъ въ руки лицо и хотѣлъ сказать: «Христось воскресь!» — но чувствую, что вотъ вѣдь я уже и схитрилъ. Теперь я не Его, — я Ему ужъ чужой сталъ... Я этого не хочу... не желаю отъ Него увольняться. А зачѣмъ же я дѣлаю, какъ тѣ, кому съ Нимъ тяжело было... который говорилъ: «Господи, выйди отъ меня: я человѣкъ грѣшный!» Безъ Него-то, конечно, полегче... Безъ Него пожалуй со всѣми уживешься... ко всѣмъ поддѣлаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мнѣ легче было! Не хочу!

Я другое вспомнилъ... Я Его не попрошу уйти, а еще позову... Приди—ближе! и зачиталъ: «Христе, свѣте истинный, просвѣщаяй и освѣщаяй всякаго человѣка, грядущаго въ миръ»...

Между солдатами вдругъ вниманіе... кто-то и повторилъ:
— «Всякаго человѣка!»

— Да, говорю, — «всякаго человѣка, грядущаго въ миръ», и такой смыслъ придаю, что Онъ просвѣщаетъ того, кто приходитъ отъ вражды къ *миру*. И еще сильнѣе голосомъ воззвалъ: «Да знаменуется на насъ, грѣшныхъ, свѣтъ Твоего лица!»

— «Да знаменуется!.. да знаменуется!» вразъ, однимъ дыханіемъ продохнули солдаты... Всѣ содрогнулись... всѣ всхлипываютъ... всѣ неприступный свѣтъ узрѣли и къ нему сунулись...

— Братцы! говорю, —будемъ молчать!

Вразъ всѣ поняли.

— Языкъ пусть намъ отсохнетъ, — отвѣчаютъ: — ничего не скажемъ.

— Ну, —я говорю:—значитъ Христось воскресъ!—и поцѣловалъ перваго побившаго меня казака, а потомъ сталъ и съ другими цѣловаться. «Христось воскресъ!» — «Воистину воскресъ!»

И вправду обнимали мы другъ друга радостно. А казакъ все плакалъ и говорилъ: «я въ Иерусалимъ пойду Бога молить... священника упрошу, чтобы мнѣ питинью наложилъ».

— Богъ съ тобой, говорю, —еще лучше и въ Иерусалимъ не ходи, а только водки не пей.

— Нѣтъ, плачешь,—я, ваше благородіе, и водки не буду пить, и пойду къ батюшкѣ...

— Ну, какъ знаешь.

Пришла смѣна, и мы возвратились, и я отрапортоваль, что все было благополучно, и солдаты всѣ молчали; но случилось такъ, однако, что секретъ нашъ вышелъ наружу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

На третій день праздника призываетъ меня къ себѣ командиръ, запирается въ кабинетъ и говорить:

— Какъ это вы, смѣнившись послѣдній разъ съ караула, рапортовали, что у васъ все было благополучно, когда у васъ было ужасное происшествіе!

Я отвѣчаю:

— Точно такъ, господинъ полковникъ, происшествіе было нехорошее, но Богъ насъ вразумилъ, и все кончилось благополучно.

— Нижній чинъ оскорбилъ офицера и остается безъ наказанія... и вы это считаете благополучнымъ? Да у васъ что же — нѣтъ, что ли, ни субординаціи, ни благородной гордости?

— Господинъ полковникъ,—говорю:—казакъ былъ чело-вѣкъ непьющій и обезумѣлъ, потому что его опиили.

— Пьянство—не оправданіе!

— Я,—говорю:—не считаю за оправданіе,—пьянство па-губа, но я духу въ себѣ не нашель доносить, чтобы за меня безразсуднаго чело-вѣка наказывали. Виноватъ, господинъ полковникъ, я простилъ.

— Вы не имѣли права прощать!

— Очень знаю, господинъ полковникъ, не могъ выдержать.

— Вы послѣ этого не можете болѣе оставаться на службѣ.

— Я готовъ выйти.

— Да; подавайте въ отставку.

— Слушаю-сь.

— Мнѣ васъ жалко,—но поступокъ вашъ есть не-позво-лительный. Пеняйте на себя и на того, кто вамъ внушилъ такіа правила.

Мнѣ стало отъ этихъ словъ грустно, и я попросилъ изви-ненія и сказалъ, что я пенять ни на кого не буду, а осо-

бенно на того, кто мнѣ внушилъ такія правила, потому что я взялъ себѣ эти правила изъ христіанскаго ученія.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Чтò,—говорить:—вы мнѣ съ христіанством!—вѣдь я не богатый купецъ и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковровъ вышивать не умѣю, а я съ васъ службу требую. Военный человѣкъ долженъ почерпать христіанскія правила изъ своей присяги, а если вы чего-нибудь не умѣли согласовать, такъ вы могли на все получить совѣтъ отъ священника. И вамъ должно быть очень стыдно, что казакъ, который васъ прибилъ, лучше зналъ, чтò надо дѣлать: онъ явился и открылъ свою совѣсть священнику! Его это одно и спасло, а не вамъ прощеніе. Дмитрій Ероѳеичъ простилъ его не для васъ, а для священника, а солдаты всѣ, которые были съ вами въ караулѣ, будутъ раскассированы. Вотъ чтѣмъ ваше христіанство для нихъ кончилось. А вы сами пожалуйте къ Сакену; онъ самъ съ вами поговорить — ему и рассказывайте про христіанство: онъ церковное писаніе все равно, какъ военный уставъ, знаетъ. А всѣ, извините, о васъ того мнѣнія, что вы, извините, получивъ пощечину, изволили прощать единственно съ тѣмъ, чтобы это безчестіе вамъ не помѣшало на службѣ остаться... Нельзя! Ваши товарищи съ вами служить не желаютъ.

Это мнѣ, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-съ, говорю: — господинъ полковникъ, я пойду къ графу Сакену и доложу все, какъ дѣло было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совѣсти. Можетъ-быть, онъ иначе взглянетъ.

Командиръ рукой махнулъ.

— Говорите, чтò хотите, но знайте, что вамъ ничто не поможетъ. Сакенъ церковные уставы знаетъ — это правда, но, однако, онъ все-таки пока еще исполняетъ военные. Онъ еще въ архіереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелѣпые слухи о Сакенѣ: одни говорили, будто онъ имѣетъ видѣнія и знаетъ отъ ангела — когда надо начинать бой; другіе рассказывали вещи еще болѣе чудныя, а полковой казначей, имѣвшій большой кругъ знакомства съ купцами, увѣрялъ, будто Филаретъ московскій говорилъ графу Протасову: «Если я

умру, то Боже васъ сохрани, не дѣлайте оберъ-прокуро-
ромъ Муравьева, а митрополитомъ московскимъ — кievскаго
ректора (Иннокентія Борисова). Они только хороши ка-
жутся, а хорошо не сдѣлаютъ; а вы ставьте на свое мѣсто
Сакена, а на мое — самаго смирнаго монаха. Иначе я вамъ
въ темномъ блескѣ являться стану».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я тогда ни за что не хотѣлъ, чтобы Сакенъ допускалъ,
будто я простилъ и скрылъ полученную мною пощечину
изъ-за того, чтобы мнѣ можно было на службѣ оставаться.
Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это ка-
жется смѣшно, а въ тогдашнемъ дикомъ состояніи я въ
самомъ дѣлѣ полагалъ немножко свою честь въ такихъ
пустякахъ, какъ постороннее мнѣніе... Ночей не спалъ:
одну ночь въ караулѣ не спалъ, а потомъ три ночи не
спалъ отъ волненія... Обидно было, что товарищи обо мнѣ
нехорошо думаютъ, и что Сакенъ обо мнѣ нехорошо ду-
маетъ! Надо, видите, такъ, чтобы все о насъ хорошо ду-
мали!..

Опять изъ-за этого всю ночь не спалъ, и на другой день
всталъ рано и являюсь утромъ въ сакенскую пріемную.
Тамъ былъ только еще одинъ аудиторъ, а потомъ и другіе
стали собираться. Жужжать между собою потихонечку, а
у меня знакомыхъ нѣтъ, — я молчу и чувствую, что сонъ
меня клонитъ, — совсѣмъ некстати. А глаза такъ и сли-
паются. И долго я тутъ со всѣми вмѣстѣ ожидалъ Сакена,
потому что онъ въ этотъ день какъ нарочно не выходилъ:
все у себя въ спальнѣ передъ чудотворной иконой молился.
Онъ вѣдь былъ страшно богомоленъ: непременно каждый
день читалъ утреннія и вечернія молитвы и три акаѳиста,
а то иногда зайдетъ до безконечности. Случалось, до того
уставалъ на колѣняхъ стоять, что даже падалъ и на ковръ
ничкомъ лежалъ, а все молился. Мшпать ему, или какъ-ни-
будь перебить молитву считалось — Боже сохрани! На это,
кажется, даже при штурмѣ никто бы не отважился, потому
что помшпать ему все равно, что дитя разбудить, когда
оно не выспалось. Начнетъ кукситься и капризничать, и
тогда его ничѣмъ не успокоишь. Адъютанты у него это
знали, — иные и сами тоже были богомолы, — другіе при-

творялись. Онъ не разбиралъ и всѣхъ такихъ любилъ и поощрялъ.

Какъ только, бывало, онъ покажется, штабные сейчасъ различали, если онъ намолился, и тогда въ хорошемъ расположеніи, и всѣ бумаги несли, потому что, намолившись, онъ добръ и тогда все подлиншетъ.

На мою долю какъ разъ такое счастье и досталось: какъ Сакенъ вышелъ ко всѣмъ въ пріемную, такъ одинъ опытный говоритъ мнѣ:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всемъ можно просить; онъ теперь намолившись.

Я любопытствовала:

— Почему это замѣтно?

Опытный отвѣчаетъ:

— Развѣ не видите -- у него колѣни бѣлѣются, и надъ бровями свѣтлыя пятнышки... какъ будто свѣтъ сіяетъ... Значить, будетъ ласковый.

Я сіянія надъ бровями не отличилъ, а панталоны у него на колѣняхъ, дѣйствительно, были побѣлѣвши.

Со всѣми онъ переговорилъ и всѣхъ отпустилъ, а меня оставилъ на самый послѣдъ и велѣлъ за собою въ кабинетъ идти.

«Ну, думаю, — тутъ будетъ развязка». И сонъ прошелъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ кабинетѣ у него большая икона въ дорогой ризѣ, на особомъ возвышеніи, и трисоставная лампада въ три огни горитъ.

Сакенъ прежде всего подошелъ къ иконѣ, перекрестился и поклонился въ землю, а потомъ обернулся ко мнѣ и говоритъ:

— Вашъ полковой командиръ за васъ заступається. Онъ васъ даже хвалитъ, — говоритъ, что вы были хорошій офицеръ, но я не могу, чтобы васъ оставить на службѣ!

Я отвѣчаю, что я объ этомъ и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможномъ.

— Вы горды!

— Никакъ нѣтъ.

— Почему же вы такъ говорите — «о невозможномъ»? Французскій духъ! гордость! У Бога все возможно! Гордость!

— Во мнѣ нѣтъ гордости.

— Вздоръ!.. Я вижу. Все французская болѣзнь!.. свосволие!.. Хотите все по-своему сдѣлать!.. Но васъ я, дѣйствительно, оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка можетъ дойти до государя... Что это вамъ пришла за фантазія!..

— Казакъ, говорю, — по дурному примѣру напился пьянь до безумія и ударилъ меня безъ всякаго сознанія.

— А вы ему это простили?

— Да, я не могъ не простить!..

— На какомъ же основаніи?

— Такъ, по вліянію сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службѣ прежде всего долгъ службы, а не сердце... Вы, по крайней мѣрѣ, раскаиваетесь?

— Я не могъ иначе.

— Значитъ, даже и не каетесь?

— Нѣтъ.

— И не жалѣете?

— О немъ я жалѣю, а о себѣ нѣтъ.

— И еще бы во второй разъ, пожалуй, простили?

— Во второй разъ, я думаю, даже легче будетъ.

— Вонъ какъ!.. вонъ какъ у насъ!.. солдагъ его по одной щекѣ ударилъ, а онъ еще другую готовъ подставить.

Я подумалъ: «Цыцъ! не смѣй этимъ шутить!» и молча посмотрѣлъ на него съ таковымъ выраженіемъ.

Онъ какъ бы смутился, но опять по-генеральски напѣтушился и задаетъ:

— А гдѣ же у васъ гордость?

— Я сейчасъ имѣлъ честь вамъ доложить, что у меня нѣтъ гордости.

— Вы дворянинъ?

— Я изъ дворянъ.

— И что же, этой... noblesse oblige... дворянской гордости у васъ тоже нѣтъ?

— Тоже нѣтъ.

— Дворянинъ безъ всякой гордости?

Я молчалъ, а самъ думалъ:

«Ну, да, ну, да: дворянинъ и безъ всякой гордости, — ну, что же ты со мной подѣлаешь?»

А онъ не отстаётъ — говоритъ:

— Что же вы молчите? Я васъ спрашиваю объ этой — о благородной гордости?

Я опять промолчалъ, но онъ еще повторяетъ:

— Я опять спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышаетъ человѣка. Сирахъ велѣлъ «пецись объ имени своемъ...»

Тогда я, чувствуя себя уже какъ бы отставнымъ и потому человѣкомъ свободнымъ, отвѣтилъ, что я ни про какую благородную гордость ничего въ Евангелии не встрѣчалъ, а читалъ про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.

Сакенъ вдругъ отступилъ и говорить:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вамъ приказываю, сейчасъ перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще разъ!

Я опять перекрестился.

— И еще... до трехъ разъ!

Я и въ третій разъ перекрестился.

Тогда онъ подошелъ ко мнѣ и самъ меня перекрестилъ, и прошепталъ:

— Не надо про сатану! Вы вѣдь православный?

— Православный.

— За васъ воспріемники у купели отеклись отъ сатаны... и отъ гордыни, и отъ всѣхъ дѣлъ его, и на него плюнули. Онъ бунтовщикъ и отецъ лжи. Плюньте сейчасъ.

Я плюнулъ.

— И еще!

Я еще плюнулъ.

— Хорошенько!.. До трехъ разъ на него плюньте!

Я плюнулъ, и Сакенъ самъ плюнулъ и ногою растеръ. Всего сатану мы оплевали.

— Вотъ такъ!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете съ собой дѣлать въ отставку?

— Не знаю еще.

— У васъ есть состояніе?

— Нѣтъ.

— Не хорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нѣтъ.

— Сѣверно! На кого же вы надѣетесь?

— Не на князей и не на сыновъ человѣческихъ: воробей не пронадеетъ у Бога, и я не пропаду.

— Ого-го, какъ вы, однако, начитаны!.. Хотите въ монахи?

— Никакъ нѣтъ, — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентію.

— Я не чувствую призванія въ монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умалчалъ о полученномъ мною ударѣ изъ-за того, чтобы остаться на службѣ: я это сдѣлалъ просто...

— Спасти свою душу! Понимаю васъ, понимаю! я вамъ потому и говорю: идите въ монахи.

— Нѣтъ, я въ монахи не могу, и спасать свою душу не думалъ, а просто я пожалѣлъ другого человѣка, чтобы его не били на смерть палками.

— Наказаніе бываетъ человѣку въ пользу. «Любіи наказуеть». Вы не дочитали... А, впрочемъ, мнѣ васъ все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите въ комиссаріатскую комиссію?

— Нѣтъ, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, какъ вамъ объ этомъ правдивѣе доложить... я туда неспособенъ.

— Ну, въ провіанты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, въ цейхвартеры! — тамъ, случается, бываютъ люди и честные.

Такъ онъ меня этимъ своимъ разговоромъ отяготилъ, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакенъ стоитъ передо мною, — и мѣрно, въ тактъ головою покачиваетъ и, загнувъ одною рукою пальцы другой руки, вычисляетъ:

— Въ Писаніи начитанъ; благородной гордости не имѣеть; по лицу битъ; въ комиссаріатъ не хочетъ; въ провіантскіе не хочетъ и въ монахи не хочетъ! Но я, кажется, понялъ васъ, почему вы не хотите въ монахи: вы влюблены?

А мнѣ только спать хочется.

— Никакъ нѣтъ, говорю: — я ни въ кого не влюбленъ.

— Жениться не намѣрены?

— Нѣтъ.

— Отчего?

— У меня слабый характеръ.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застѣнчивы, — вы боитесь женщинъ... да?

— Нѣкоторыхъ боюсь.

— И хорошо дѣлаете! Женщины суетны и... есть очень злыя, но вѣдь не всѣ женщины злы и не всѣ обманываютъ.

— Я самъ боюсь быть обманщикомъ.

— То-есть... Какъ?.. Для чего?

— Я не надѣюсь сдѣлать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеровъ?

— Да, говорю, — женщина можетъ не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборотъ.

— А вы ей докажете.

— Доказать все можно, но отъ этого выходить только споры и человекъ дѣлается хуже, а не лучше.

— А вы и споровъ не любите?

— Терпѣть не могу.

— Такъ ступайте же, мой милый, въ монахи! Что же вамъ такое?! Вѣдь вамъ въ монахахъ отлично будетъ съ вашимъ настроеніемъ.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призванія нѣтъ.

— А вотъ вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призваніе. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не ѣсть. Этого, что ли, вы боитесь? Но вѣдь это не такъ строго...

— Я мяса совсѣмъ никогда не ѣмъ.

— А зато у нихъ прекрасныя рыбы.

— Я и рыбы не ѣмъ.

— Какъ, и рыбъ не ѣдите? Отчего?

— Мнѣ неприятно.

— Отчего же это можетъ быть неприятно — рыбъ ѣсть?

— Должно-быть, врожденное — моя мать не ѣла тѣлъ убитыхъ животныхъ и рыбъ тоже не ѣла.

— Какъ странно! Значитъ, вы такъ и ѣдите одно грибное да зелень?

— Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно ѣсть!

— Ну, такъ вы и сами себя не знаете: вы природный монахъ, вамъ даже схиму дадутъ. Очень радъ! Очень радъ! Я вамъ сейчасъ дамъ письмо къ Иннокентію!

— Да я, ваше сіятельство, не пойду въ монахи!

— Нѣтъ, пойдете, — такихъ, которые и рыбъ не ѣдятъ, очень мало! вы схимникъ! Я сейчасъ напишу.

— Не извольте писать: я въ монастырь жить не пойду. — Я желаю ѣсть свой трудовой хлѣбъ въ потѣ своего лица.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сакенъ наморщился.

— Это, говоритъ, — вы Библии пачитались, — а вы Библии-то не читайте. Это англичанамъ идетъ: они недовѣрки и криволотки. Библия опасна, — это мірская книга. Человѣкъ съ аскетическимъ основаніемъ долженъ ея избѣгать.

«Фу ты, Господи! думаю. — Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сіятельство! я уже вамъ доложилъ: во мнѣ нѣтъ никакихъ аскетическихъ основаній.

— Ничего, идите и безъ основаній! Основанія послѣ придутъ; всего дороже, что у васъ это врожденное: не только мяса, а и рыбы не ѣдите. Чего вамъ еще!

Умолкаю! Рѣшительно умолкаю и думаю только о томъ: когда же онъ меня отъ себя выпустить, чтобы я могъ спать.

А онъ возлагаетъ мнѣ руки на плечи, смотреть долго въ глаза и говорить:

— Милый другъ! вы уже призваны, но только вамъ это еще непонятно!..

— Да, отвѣчаю, — непонятно!

Чувствую, что мнѣ теперь все равно, — что я вотъ-вотъ сейчасъ тутъ же, стоя, усну — и потому инстинктивно отвѣтилъ:

— Непонятно.

— Ну, такъ помолимся, говоритъ, — вмѣстѣ поусердѣе вотъ передъ этимъ ликомъ. Этотъ образъ былъ со мною во Франціи, въ Персіи и на Дунаѣ... Много разъ я передъ нимъ упадалъ въ недоумѣніи и когда вставалъ — мнѣ было все ясно. Становитесь на ковръ на колѣни и земной поклонъ... Я начинаю.

Я сталъ на колѣни и поклонился, а онъ зачиталъ умиленнымъ голосомъ: «Совѣтъ превѣчный открывая Тебѣ»...

А дальше я уже ничего не слыхалъ, а только почудилось мнѣ, что я, какъ дошелъ лбомъ до ковра,—такъ и пошелъ свайкой спускаться внизъ. куда-то все глубже къ самому центру земли.

Чувствую, что-то не то, что нужно: мнѣ бы нужно куда-то легкимъ перомъ вверхъ, а я иду свайкой внизъ туда, гдѣ по словамъ Гёте «первообразы кипятъ, — клокочуть зиздящія силы». А потомъ и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять отъ центра къ поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горитъ, въ окнахъ темно, впереди меня на томъ же коврѣ какой-то генераль клубочкомъ свернувшись спать.

— Что это такое за мѣсто?—засналъ и запоматовалъ.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: гдѣ я?—Что это генераль въ самомъ дѣлѣ, или такъ кажется... Потрогалъ его... ничего—парной, теплый и смогрю—и онъ просыпается и шевелится... И тоже сѣлъ на коврѣ и на меня смотреть... Потомъ говорить:

— Что вижу?.. Фигура!

— Я отвѣчаю:—точно такъ.

Онъ перекрестился и мнѣ велѣлъ.

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы съ вами вмѣстѣ были?

— Да-съ.

— Каково!

Я промолчалъ.

— Какое блаженство!

Не понимаю, въ чемъ дѣло, но, къ счастью, онъ продолжаетъ:—видѣли, какая святыня!

— Гдѣ?

— Въ раю!

— Въ раю? Нѣтъ, говорю,—я въ раю не былъ и ничего не видалъ.

— Какъ не видалъ! Вѣдь мы вмѣстѣ летали... Туда... вверхъ!

Я отвѣчаю, что я летать леталъ, но только не вверхъ, а внизъ.

— Какъ внизъ?

- Точно такъ.
— Внизъ?
--- Точно такъ.
— Внизу адъ!
--- Не видалъ.
— И ада не видалъ?
--- Не видалъ.
--- Такъ какой же дуракъ тебя сюда пустилъ?
--- Графъ Остенъ-Сакенъ.
--- Это я графъ Остенъ-Сакенъ.
--- Теперь, говорю,—вижу.
--- А до сихъ поръ и этого не видалъ?
— Прошу прощенія, говорю, — мнѣ кажется, будто я спалъ.
— Ты спалъ!
--- Точно такъ.
--- Ну, такъ пошелъ вонъ!
--- Слушаю, говорю,—но только здѣсь темно—я не знаю, какъ выйти.

Сакенъ поднялся, самъ открылъ мнѣ дверь и самъ сказалъ:

--- Zum Teufel!

Такъ мы съ нимъ и простились, хотя нѣсколько сухо, но его ко мнѣ милости этимъ не кончились.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Я былъ совершенно спокоенъ, потому что зналъ, что мнѣ всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завѣту, а не по нѣсколькимъ, не спорить, не поддѣлываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, — и я зналъ, гдѣ и какъ можно найти такую волю. Я не хотѣлъ рѣшительно никакихъ службъ, ни тѣхъ, гдѣ нужна благородная гордость, ни тѣхъ, гдѣ можно обходиться и безъ всякой гордости. Ни на какой службѣ человѣкъ самъ собой быть не можетъ, онъ долженъ впередъ не обѣщаться, а потомъ исполнять, какъ обѣщался, а я вижу, что я порченный, что я ничего обѣщать не могу, да и не смѣю, и не долженъ, потому что суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обѣщанія выдержать: увижу страданіе и не выстою... и измѣню субботу! На службѣ надо имѣть клятвенную твер-

доть и умѣть самого себя заговаривать, а у меня этого дарованія нѣтъ. Мнѣ надо что-нибудь самое простое... Перебиралъ я, перебиралъ, — что есть самое простое, гдѣ не надо себя заговаривать, и рѣшилъ, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службѣ.

Передъ самымъ моимъ выѣздомъ полковникъ объявляетъ мнѣ:

— Вы не безъ пользы для себя съ Дмитріемъ Ероенчемъ повидались. Онъ тогда былъ съ утра прекрасно намолвившнсь, и еще съ вами, кажется, молился?

— Какъ же, отвѣчаю,—мы молились.

— Вмѣстѣ въ блаженные селенія парилл?..

— То-есть... какъ это вамъ доложить...

— Да, вы—большой политикъ! Знаете, вы и достигли,—вы ему очень понравилнсь; онъ вамъ велѣлъ сказать, что особымъ путемъ вамъ пенсію выпросить.

— Я, говорю,—пенсіи не выслужилъ.

— Ну, ужъ это теперь расчислять поздно,—ужъ отъ него пошло представленіе, а ему не откажутъ.

Вышла мнѣ пенсія по тридцати шести рублей въ годъ, и я ее до сихъ поръ по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, говорили,—мы, ваше благородіе, вами довольны и не плачемся. Намъ все равно, гдѣ служить. А вамъ бы, ваше благородіе, мы желали, чтобы къ намъ въ попы достигнуть и благословлять на полѣ сраженія. /

Тоже доброжелатели!

А я вмѣсто всего ихняго доброжеланія вотъ эту господку купилъ... Невелика господка, да добра... Можетъ и Катря еще на ней буде съ мужемъ господуроваты... Видна Катруся! Я ее съ матерью подъ тополями Подолинскаго сада нашель... Мать хотѣла ее на чужія руки кинуть, а сама къ какой-нибудь пани въ мамки идти. А я визвѣрвался, да говорю ей:

— Чи ты съ самага роду такъ дурна, чи ты сумасшедшая! Що тобі такэ поднялось, щобъ свою дытну покинути, а паньскихъ своимъ молокомъ годувати! Нехай ихъ яка пани породила, та сама и годуетъ: такъ отъ Бога показано,—а ты хѣды впрость до минэ, те пильную свою дытну.

Она встала,—подобрала Катрю въ тряпочки и пошла,— каже:

— Пиду, куды мнѣ доля моя веда!

Такъ вотъ и живемъ, и поле оремъ, и сіемъ, а чого нѣма, о томъ не скучаемъ—бо всѣ люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицеръ, да еще и безъ усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моимъ свѣдѣніямъ, Фигура умеръ въ концѣ пятидеся-
тыхъ или въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. О немъ
я не встрѣчалъ въ литературѣ никакихъ упоминаній.

РАЗСКАЗЫ КСТАТИ.

СОВМѢСТИТЕЛИ.

БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАНВѢ.

«Родъ сей ничѣмъ же избирается».

Совмѣстительство у насъ есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу какъ-будто ничему не мѣшаетъ, оно все-таки составляетъ зло,—говорилъ нѣкоторый знатный и правдивый человекъ и при этомъ рассказывалъ слѣдующій, по моему мнѣнію, не безынтересный анекдотическій случай изъ стараго времени. — Дѣло идетъ о бывшемъ министрѣ финансовъ, извѣстномъ графѣ Канкринѣ. Я записалъ этотъ рассказъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, прямо со словъ рассказчика и такъ его здѣсь и передамъ, почти тѣми же словами, какъ слышалъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Графъ Канкринъ былъ дѣловитъ и уменъ, по любилъ поволочиться. Тогда было, впрочемъ, такое время, что всѣ волочились. Даже впоследствии это перешло какъ бы въ преданіе по финансовому вѣдомству, и покойный Вронченко тоже былъ превеликій ухаживатель: только въ этомъ игры и любезности той не было, какъ въ Канкринѣ *). Такое господствовало настроеніе: жизнь играла у гробового входа. И тѣ, кому волокитство уже ни на что не нужно было,

*) Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ род. 1774 г. состоялъ генералъ-интендантомъ въ 1812 г., а съ 1823 года министромъ финансовъ. Умеръ въ 1846 г. Былъ отличный финансистъ и извѣстенъ также какъ писатель; писалъ на нѣмецкомъ языкѣ.

и они все-таки старались не отставать от сверстниковъ.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличія всѣ имѣли дамъ на попеченіи. Въ самой большой модѣ были танцовки или цыганки, но иногда и другія особы соотвѣтственнаго значенія. И притомъ никто почти не скрывалъ свои грѣшки, а нерѣдко даже желали ихъ огласки. Это давало случай въ обществѣ подшучивать надъ «старыми грѣшниками». О нихъ рассказывали разные смѣшныя анекдоты, а это дѣлало грѣшникамъ извѣстность и рекомендовало ихъ какъ добрыхъ и забавныхъ все-гарсоновъ.

Случалось, что имя грѣшника вспоминалось съ какою-нибудь веселою шуткою при такихъ лицахъ, что это воспоминающему было полезно, и этимъ дорожили и умѣли обращать себѣ въ выгоду.

Были даже такіе старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смѣшныя любезныя исторіи и доходили въ этомъ до замѣчательной виртуозности. Позднѣйшіе критики, не знавшіе хорошо дѣйствительности прошлой жизни, приписали нигилистической порѣ стремленіе «пить втроемъ утренній чай»; но это несправедливо. Все это было извѣстно гораздо раньше появленія нигилистовъ и производилось гораздо крупнѣе, но только тогда на это былъ другой взглядъ, и «чай втроемъ» не получалъ тенденціозныхъ истолкованій.

А что старички въ то время очень, очень шалили и что грѣшки ихъ забавляли общество—это вы можете видѣть по театральному репертуару. Тогда нерѣдко такъ съ кого-нибудь прямокомъ и писали пьесы. Напримѣръ, «Новички въ любви», или «Его превосходительство или средство нравиться»—это все съ натуры. Теперь всѣхъ этихъ пьесъ уже и названій не припомнишь, а тогда бывало выведенныхъ лицъ по именамъ въ театрѣ называли и смѣялись. Многіе актеры, особенно Мартыновъ, бывало нарочно гримировались и копировали на сценѣ того, въ кого мѣтили. Былъ даже одинъ такой случай, что нѣкто, имѣвшій желаніе о себѣ напомнить, самъ избралъ для этого театръ и самъ пріѣзжалъ къ Мартынову съ просьбою — «нельзя ли такъ представить, чтобы его лицо узнали». Мартыновъ надъ этимъ просителемъ подсмѣялся: онъ ему не отказалъ, но что-то такое какъ-то прикрасилъ по-своему и чуть-чуть не повредилъ почтенному человѣку. Впрочемъ, дѣло обошлось,

и тотъ возобновилъ себя у кого желалъ въ памяти и получилъ солидную должность.

Въ министерствѣ финансовъ тогда собралась компанія очень большихъ волокитъ, и самъ министръ считался въ этой компаніи не послѣднимъ. Любовныхъ грѣшковъ у графа Канкринна, какъ у очень умнаго человѣка, съ очень живою фантазіей, было много, но къ той порѣ, когда подошелъ комическій случай, о которомъ теперь наступаетъ рассказъ, графъ уже былъ въ упадкѣ тѣлесныхъ силъ и не совсѣмъ охотно, а болѣе для одного приличія вель значенство съ нѣкоторой барынькой полуинтендантскаго происхождения.

Среди интендантовъ графъ Канкринъ былъ очень извѣстенъ по его прежней службѣ, а можетъ быть и по его прежней старательности въ ухаживаніяхъ за смазливими дамочками, или, какъ онъ ихъ называлъ, «жолі мордочками». Это совсѣмъ не то, что Тургеневъ называетъ въ своихъ письмахъ *мордемондін*. «Мордемондін» — это начитанная противность, а «жолі-мордочки» — это была прелесть.

Притомъ, я не знаю, какъ это кажется вамъ, а я въ этомъ названіи слышу что-то веселое, молодое и беззаботное и въ словѣ «жолі-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обиднаго для прекраснаго пола.

Въ оное былое время, когда графъ интендантствовалъ, «жолі-мордочки» его сильно занимали и не мало ему стоили; но въ ту пору, до которой доходитъ мой рассказъ, онъ уже только «соблюдалъ приличія круга» и потому сталъ и разсчетливъ, и лѣнивъ въ оказательствахъ своего вниманія дамѣ.

А состоявшая въ это время при немъ «жолі-мордочка» была, какъ на грѣхъ, особа съ нѣкоторымъ образованіемъ и очень живого характера: она требовала вниманія, сердилась, капризничала, дѣлала ему сцены и вообще хотѣла, чтобы онъ ею занимался и какъ-нибудь ее развлекалъ. Графъ же былъ и старъ, и очень занятъ, да и по положенію своему онъ не могъ удовлетворять эти требованія. А потому, поступая въ духѣ времени, онъ очень желалъ, чтобы часть заботъ о развлеченіи молоденькой особы понесъ кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было въ условіяхъ этикета, чтобы совмѣститель былъ человѣкъ съ тактомъ и не ронялъ значенія главенствующаго лица, или патрона.

Такимъ дамамъ позволяли появляться съ ихъ адъютантами, гдѣ можно, въ общественныхъ мѣстахъ, и это никому не вредило, потому что отъ этого шель хорошей говорь: «Вотъ-де князь NN надуваетъ графа ZZ». А совсѣмъ никакого надувательства ни съ чьей стороны и не было,—все было съ общаго согласія, но только черезъ хорошаго «аташе» больше прославлялось имя патрона. Старичокъ бывало заѣдетъ утромъ, чашку кофе или шоколада выпьетъ и уѣдетъ и денегъ пачку оставить, а послѣ визита прѣзжаетъ совмѣститель, и идетъ счастливое препровожденіе времени.

Но нынѣшняя «жолі-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни съ кѣмъ не знакомилась и тѣмъ ужасно обременяла графа безпрерывными претензіями.

Онъ хотѣлъ отношеній болѣе удобныхъ, а она скучала и совсѣмъ другое пѣла.

— Я, говоритъ, — такъ безъ участія сердца жить не могу, — я понимаю только одни серьезныя отношенія.

Графъ ей нѣсколько разъ представлялъ, что ему невозможно сидѣть у нея и оказывать «участіе сердца», а она говорила:

— Нѣтъ, вы должны. Пойдемъ погуляемъ; я вамъ что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотѣла понять, что ему, какъ министру, это неудобно. Онъ и озаботился помирить ея требованія какъ-нибудь иначе, и сдѣлалъ въ этомъ направленіи очень находчивый и смѣлый шагъ; но только съ хлопотами его вышель пресмѣшной казусъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Графъ жилъ лѣтомъ въ Лѣсномъ, который тогда считался очень хорошимъ дачнымъ мѣстомъ. Канкринъ самъ, вѣдь, и положилъ начало здѣшнему заселенію и всегда Лѣсному покровительствовалъ.

Оттого, можетъ-быть, здѣсь и послѣ долго жили директоры изъ министерства финансовъ, но только это ужъ не то. Славы Лѣсного они не поддержали — она пала невозвратно. Даму свою Канкринъ помѣстилъ отъ себя въ сторону, именно въ Новой Деревнѣ, гдѣ тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здѣшнихъ дачахъ помѣщалось большинство нѣжныхъ особъ, имѣвшихъ имепи-

тыхъ попечителей. Дачи этихъ дамъ, бывало, замѣтны, и опытный глазъ сейчасъ ихъ узнавалъ по хорошимъ, густымъ занавѣскамъ и по тому, что изъ нихъ чаще всего слышалось пѣніе куплетовъ:

«Въ васъ, конечно, нѣтъ дурного,
«Только,—право не въ упрекъ,—
«Нѣтъ ли гдѣ-нибудь сѣдого?
«Что-съ?»

а хоръ отвѣчаетъ:

«Водится грѣшокъ!
«Водится грѣшокъ!»

Весело, очень весело жилось! И куда только все это ушло и куда миновалось съ усиленіемъ разночинца!..

Какъ пошли пѣть подъ бряцаніе: «Ты, душа-ль моя, красна дѣвица! Ты, звѣзда-ль моя, ненаглядная», — такъ игривый куплетъ изъ комнатнаго пѣнія и вывелся.

«Всякой вещи свое время подъ солнцемъ», — даже и куплету.

Такъ пройдетъ и оперетка, съ которою нынче напрасно борются.

Все пройдетъ когда-нибудь въ свое время.

Канкринъ посѣщалъ свою пустынную всегда верхомъ и всегда безъ провожатаго; но серьезный служебный недосугъ мѣшалъ ему дѣлать эти посѣщенія такъ часто, какъ желала его неудобная, по серьезности своихъ требованій, «жолі-мордочка». И выходило у нихъ худо: та скучала и капризничала, а онъ, будучи обремененъ государственными вопросами и литературой, никакъ не могъ угодить ей. Сцены она умѣла дѣлать такія, что графъ даже сталъ бояться одинъ къ ней ѣздить.

Рядомъ же съ дачей графа Канкринъ въ Лѣсномъ въ это лѣто поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень въ свое время красивый гвардейскій кавалеристъ П. Н. К—шинъ. Онъ былъ изъ дворянъ нашей Орловской губерніи, и я зналъ его отца и весь родъ этихъ К—шиныхъ: всѣ были преумны и прекрасивы, этакіе бравые, рослые, черноглазые, — просто молодцы.

Этотъ интересный сосѣдъ графа, несмотря на свои молодые годы и на военное званіе, съ представленіемъ о которомъ въ насъ соединяется понятіе о склонности къ раз-

веселому житью, велъ жизнь самую уединенную, — онъ все домосѣдничалъ и читалъ книги или игралъ на скрипкѣ.

Игра на скрипкѣ и обратила на него вниманіе графа, который тоже былъ музыкантъ и притомъ очень не плохой музыкантъ. Графъ игралъ на скрипкѣ въ темной комнатѣ, примыкавшей къ его кабинету, который былъ тоже полутемный, потому что окна его были заслонены деревьями и кромѣ того заставлены рамками, на которыхъ была натянута темнозеленая марли.

Офицеръ заиграетъ, а графъ положитъ перо и слушаетъ и, заинтересовавшись имъ, спрашиваетъ одинъ разъ у своего латыша-камердинера:

— Кто это, братецъ, возлѣ насъ такъ хорошо играетъ?

Тотъ отвѣчаетъ:

— Офицеръ какой-то, ваше сіятельство.

— Да кто же онъ такой, — онъ какого полка?

Камердинеръ говоритъ:

— Я не знаю.

— Ну, такъ я тебѣ приказываю: разузнай и доложи мнѣ.

Камердинеръ все разузналъ и вечеромъ, когда сталъ раздѣвать графа, докладываетъ ему, что сосѣдъ ихъ — молодой, одинокій офицеръ самага щегольского кавалерійскаго полка, человѣкъ очень достаточный, а живетъ скромно. Графу это понравилось. Молодой человѣкъ и военный, если онъ все сидитъ дома да читаетъ, то непременно, должно быть, онъ человѣкъ интересный и нравственный. Вѣтреникъ или гуляка не выдержалъ бы, онъ бы все бѣгалъ да на глазахъ мотался. У графа что-то на сонъ грядущій и замелькало въ мечтахъ, а утромъ, только-что графъ просыпается, — офицеръ уже на самой тонкой струнѣ выводитъ какую-то самую забористую Паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой онъ досужій, этотъ офицерикъ!» подумалъ графъ, и ему захотѣлось посмотрѣть на сосѣда. А тотъ какъ разъ подошелъ и сталъ со скрипкою у окна.

Камердинеръ говоритъ:

— Извольте, ваше сіятельство, смотрѣть: господинъ офицерикъ весь теперь въ виду вашемъ.

Графъ взглянулъ и отвѣчаетъ камердинеру:

— Ты, братецъ, дуракъ. Развѣ это «офицерикъ»? Это цѣлый офицеръ, да еще, пожалуй, даже офицериче!

И графу захотѣлось съ этимъ сосѣдомъ познакомиться.

На слѣдующій же день, когда молодой офицеръ возвращался съ купанья и проходилъ мимо ограды сада графа Канкринна, тотъ стоялъ у своей рѣшетки и заговорилъ съ нимъ.

— Извините меня, поручикъ, — это вы такъ хорошо играете на скрипкѣ?

— Да, я играю, ваше сіятельство. Не смѣю думать, чтобы я игралъ хорошо, но прошу у васъ извиненія, если беспокою васъ моею игрою. Я, впрочемъ, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

— О, нѣтъ, нѣтъ, нисколько. Сдѣлайте милость, играйте! Я самъ играю и прошу васъ покорно—познакомимтесь. И у жены моеѣ тоже собираются Klmperei. Приходите ко мнѣ запросто, по-сосѣдски, и мы съ вами вмѣстѣ поиграемъ.

Молодой человекъ поклонился, а графъ указаль часы, когда его удобно посѣщать запросто, «по-сосѣдски», и они разстались.

Кавалеристъ поблагодарилъ графа и очень умно воспользовался его приглашеніемъ. Онъ пришелъ къ графу не очень скоро и не черезчуръ долго, а какъ того требовали вѣжливость и уваженіе къ лицу Канкринна, человека дѣйствительно замѣчательнаго—и по уму, и по дѣятельности, и по таланту.

Въ два визита молодой, умный поручикъ чрезвычайно расположилъ къ себѣ министра. Графъ съ удовольствіемъ любовался прекраснымъ молодымъ человекомъ и втайнѣ возымѣлъ на него свой планъ. Офицеръ ему казался какъ разъ такимъ человекомъ, съ которымъ онъ могъ завоевать себѣ—если не область міра, то нѣкоторую долю весьма желательнаго покоя. Короче и проще говоря, графъ былъ увѣренъ, что его беспокойная дама съ серьезными взглядами и требованіями непремѣнно этимъ молодымъ человекомъ заинтересуется. Стоитъ лишь ихъ познакомить—и они станутъ вмѣстѣ читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будетъ отдыхъ. И вотъ, когда офицеръ еще разъ навѣстилъ Канкринна, министръ и сказалъ ему:

— Ахъ, поручикъ, какой сегодня хорошій день. Мнѣ совсѣмъ не хочется сидѣть дома и читать мои скучныя бумаги. Я бы съ большимъ удовольствіемъ проѣхался верхомъ, а отъ васъ зависитъ сдѣлать мнѣ эту прогулку еще пріятнѣе.

Тотъ говоритъ:

— Я къ вашимъ услугамъ, но только спрашиваетъ, — какимъ образомъ онъ можетъ увеличить это удовольствіе.

— А вотъ, — отвѣчаетъ графъ: — прикажите-ка, чтобы вамъ осѣдлали вашу лошадь да привели ее сюда и поѣдемте вмѣстѣ.

Офицеръ съ удовольствіемъ согласился. Приказаніе было немедленно отдано и исполнено: верховья лошади подведены къ крыльцу, и графъ съ молодымъ человѣкомъ сѣли и поѣхали.

День былъ дѣйствительно прекрасный, располагающій человѣка хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкринъ былъ въ своемъ обыкновенномъ, длиннополомъ военномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, въ большихъ темныхъ очкахъ съ боковыми зелеными стеклами и въ галошахъ, которыя онъ носилъ во всякую погоду и часто не снималъ ихъ даже въ комнатѣ. На головѣ графъ имѣлъ военную фуражку съ большимъ козырькомъ, который отбѣнялъ все его лицо. Онъ вообще одѣвался чужакомъ и, несмотря на тогдашнюю строгость въ отношеніи военной формы, позволялъ очень большія отступленія и льготы. Государь этого какъ бы не замѣчалъ, а прочіе и не смѣли замѣчать.

Всадники ѣхали довольно долго молча, но, несмотря на это молчаніе, видно было, что графъ чувствуетъ себя очень въ духѣ. Онъ не разъ улыбался и весело поглядывалъ на своего спутника, а потомъ, у одного поворота вправо къ тогдашней опушкѣ лѣса, остановилъ лошадь и сказалъ:

— А знаете ли что, поручикъ: не заѣдемъ ли мы съ вами къ одной прехорошенькой дамочкѣ.

Молодой человѣкъ немного сконфузился отъ этой неожиданности и проговорилъ, что онъ не знаетъ—ловко ли это будетъ съ его стороны пріѣхать незванымъ въ незнакомый домъ.

— О, не беспокойтесь, — отвѣчалъ графъ. — Вы уже во всемъ этомъ положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда васъ приглашаю. Это, я вамъ скажу, премилая молодая особа, и держитъ себя совсѣмъ безъ глупыхъ церемоній. Мы съ нею давно друзья, и вы, я увѣренъ, непременно захотите съ нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своимъ семейнымъ обстоятельствамъ она живетъ совершенно одна—монастыркой и очень часто ску-

часть. Это ея единственный, можно сказать, недостатокъ. Мы приѣдемъ очень кстати, и вы увидите, какъ она мило намъ обрадуется и встрѣтитъ насъ à bras-ouvert.

— Въ такомъ случаѣ, я въ вашемъ распоряженіи,—отвѣчалъ офицеръ.

— Ну, вотъ и прекрасно!—воскликнулъ графъ.—А эта милая дама и живетъ отсюда очень недалеко—въ Новой Деревнѣ, и дача ея какъ разъ съ этой стороны. Мы подѣдемъ къ ея домику такъ, что насъ рѣшительно никто и не замѣтитъ. И она будетъ удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навѣщалъ, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вотъ мы и явимся ея веселить. Теперь пустимъ коней рысью и черезъ четверть часа будемъ уже пить шоколадъ, сваренный самими безподобными ручками.

Офицеръ молча поклонился.

— Да, да,—продолжалъ Канкринъ.—Вы не думайте, что это одни слова. Такихъ другихъ ручекъ не скоро отыщете. Лавальеръ дорого дала бы, чтобы имѣть такія ручки, потому что ихъ-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни въ чемъ нѣтъ недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчасъ будемъ тамъ.

Поводья даны, и путники приѣхали такъ скоро, какъ обѣщалъ Канкринъ. И другое его соображеніе тоже оказалось вѣрно: при приближеніи ихъ къ дачкѣ, обитаемой прелестною дамою, ихъ дѣйствительно никто не замѣтилъ. На маленькомъ дворикѣ была тишина,—только чьи-то нестрелькія цесарскія куры похаживали и дѣлали свойственные имъ фальшивыя движенія головами изъ стороны въ сторону,—точно онѣ на кого-то кивали. Разрисованныя шторы съ пастушками и деревьями были опущены до низу, и изъ-за одной изъ нихъ выглядывала морда сытаго рыжаго кота, но сама милая пустынноца была нигдѣ не замѣтна и не снѣшила à bras-ouvert навстрѣчу графу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Черезъ минуту приѣздъ гостей былъ, однако, замѣченъ и произвелъ смятеніе въ маленькомъ домикѣ. Владѣтельница обитательница дачи не показалась, а ея служанка взглянула въ окно и тотчасъ же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсемъ скоро, и вышедшая на

встрѣчу гостямъ дѣвушка заговорила второпяхъ, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтобъ было тихо, и сама заснула.

Графъ спросилъ:

— Чѣмъ Марья Степановна нездорова?

— Зубки у нихъ болятъ,—всю ночь не спали.

— А-а, зубки! Надо заговорить ея зубки.

Канкринъ входилъ въ комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутникъ слѣдовалъ молодой, легкой поступью за нимъ.

Горничная еще больше обезпокоилась и стала говорить:

— Осмѣлюсь доложить... Онѣ сейчасъ выйдутъ, я имъ уже сказала, что вы пожаловали, и онѣ одѣваютъ распашонку.

Образованіе тогда еще было распределено такъ неровно, что многія горничныя не употребили иностранное слово «пеньюаръ», а называли по-русски «распашонка».

— Ну, такъ мы подождемъ, пока она одѣнется,—отвѣчалъ графъ, и не пошелъ далѣе, а спокойно сѣлъ на широкое оттоманѣ и пригласилъ сѣсть офицера:— Садитесь, поручикъ. Не стѣсняйтесь,—я васъ увѣряю, что мы будемъ хорошо приняты.

Онъ понизилъ голосъ и, наклонясь къ уху собесѣдника, добавилъ:

— Она немножко съ душкомъ,—какъ и всѣ хорошенькія женщины,—но это ровно ничего не значить: миленькимъ женщинамъ все простить можно. Притомъ же надо имѣть снисхожденіе къ ея положенію. Какъ хотите, а оно немножко неправильно и уязвляетъ ея самолюбіе. Конечно, она ни въ чемъ не нуждается, но это все не то, что она намѣчала въ своихъ мечтаніяхъ. Она дочь почтеннаго человѣка и образована, притомъ мечтательна. Она прекрасно умѣетъ рассказать свою исторію и вѣрно когда-нибудь вамъ ее расскажетъ. О, она пренинтересная и любитъ «участіе сердца».

И графъ сообщилъ кое-что о странностяхъ живого и смѣлаго характера Марьи Степановны. Она жила въ фаворѣ и на свободѣ у отца, потомъ въ имѣніи у бабушки, отчаянно падать верхомъ, какъ наѣздница, стрѣляетъ съ сѣдла и прекрасно играетъ на бильярдѣ. Въ ней есть немножко дикарки. Петербургъ ей въ тягость, особенно какъ она здѣсь

лишена живого сообщества равныхъ ей людей, — и ужасно скучаетъ.

— Но вы понимаете, — продолжалъ графъ: — что, послѣ утомленія однообразіемъ характеровъ нашихъ свѣтскихъ «кавалеръ - дамъ», этакое живое существо — оно, чортъ возьми, шевелить, оно волнуется и встряхиваетъ своею кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Графъ усталъ говорить, тѣмъ боже, что спутникъ его ничего ему не возражалъ, а только молча съ нимъ соглашался и обводилъ глазами квартиру прелестной дамы въ фальшивомъ положеніи. Какъ большинство всѣхъ дачныхъ построекъ, это былъ животрепещущій домикъ съ дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою краскою.

Наивысше бумажные обои тогда еще только начинали входить въ употребленіе въ городскихъ домахъ, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки ихъ расписывали цвѣтами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правдѣ сказать, выходило недурно.

Убранство комнатъ было не бѣдное, но и не богатое, по какое-то особенное, какъ бы, на примѣръ, *походное* или вообще полковое; точно какъ будто здѣсь жила не молоденькая, красивая женщина, а, на примѣръ, эскадронный командиръ, у котораго лихость и отвага соединялись съ нѣкоторымъ вкусомъ и любовью къ изящному. Не плохіе ковры, не плохіе занавѣсы, диваны, фортепіано и цитра, но больше всего ковровъ. Все, гдѣ только можно повѣсить коверъ, тамъ покрыто и занавѣшено коврами. Огромный же персидскій коверъ закрываетъ отъ потолка до полу и всю дверь въ спальню, гдѣ теперь за перегородкой одѣвается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха, ни духа.

— Однако, долго она что-то надѣваетъ свою распашонку! — замѣтилъ графъ и громко позвалъ по-русски:

— Марья Степановна!

Очень пріятный грудной контральтъ отозвался изъ-за стѣнки:

— Сейчасъ.

— А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали васъ ждать.

— Тѣмъ лучше.

— Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду такъ дерзокъ, что пойду къ вамъ.

— Вы этого не смѣете. Впрочемъ, я сейчасъ, сейчасъ выйду.

— Все пуколки, пуколки,—пощутилъ графъ.

Офицеръ приподнялся съ дивана и началъ разсматривать приставленную въ углу комнаты доску, на которой были наклеены бѣлый картонъ съ расчерченными на немъ кругами и со многими слѣдами понавищихъ сюда пулекъ.

— Это вотъ наша Діана изволить стрѣлять,—сказалъ графъ.

— Довольно мѣткіе выстрѣлы.

— Да, но вѣдь это не дозволено въ жилищѣ мѣстѣ, и я уже изъ-за нея имѣлъ по этому поводу объясненія... Но, однако...

Графъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и добавилъ:

— Этотъ прекрасный стрѣлокъ нынче такъ долго медлитъ, что я позволю себѣ сдѣлать атаку.

И графъ только-что приподнялся съ дивана, чтобы постучать въ двери, какъ завѣшивавшій дверь коверъ отодвинулся и въ его полутемномъ отворотѣ появилась красивая Марья Степановна. Она въ самомъ дѣлѣ была очень хороша,—хотя немножко полновата. Ростъ у нея былъ небольшой, но хорошій и притомъ удивительное античное тѣлосложеніе, а лицо нѣсколько смугловатое, съ замѣчательнымъ тонкимъ очертаніемъ, напоминающимъ новогреческій типъ. Это прелестное лицо очень знали въ Петербургѣ, и Марья Степановна впоследствии еще покорила много сердець и головъ, такъ какъ съ этого случая, о которомъ я теперь рассказываю, только началась ея настоящая карьера. Впоследствии изъ нея вышелъ такой на всѣ руки боецъ и дѣлецъ, черезъ котораго обдѣльвались самыя невозможныя дѣла. Но мы, однако, не будемъ предупреждать событія.

Графъ подаль Марья Степановнѣ руку, а другою рукою поддержалъ ее за затылокъ подъ голову и поцѣловалъ ее въ лобъ, который та подставила графу, какъ истая леди.

Загѣмъ онъ представилъ хозяйкѣ гостя, а тому сказала: — Марья Степановна—мой другъ: ся друзья—мои друзья, а враговъ у насъ съ нею нѣтъ.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а въ сторону графа отвѣчала:

— Что до меня, то это не такъ: у меня враги есть и впредь очень быть могутъ, но я ихъ никогда не замѣчаю.

Между тѣмъ, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смѣло, но въ ея лицѣ, фигурѣ и въ довольно хорошихъ, но нѣсколько нервныхъ движеніяхъ было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, такъ сказать, «съ предусмотрѣніемъ» на всякій возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стѣсняясь своей очень очевидной роли,—что неизмѣнно стала бы дѣлать женщина менѣе сообразительная; но только ей все-таки было не по себѣ, и она прибѣгла къ обще-армейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причемъ впала въ довольно замѣтную ошибку: дѣвушка ей говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Графъ замѣтилъ ей это и разсмѣялся, а она разсердилась и запальчиво отвѣтила:

— Не все ли это равно.

— Ну, не совсѣмъ все равно.

— Совершенно равно: когда сильно болятъ зубы, тогда все болить. Не правда ли?—обратилась она къ офицеру.

Тотъ сомасился съ шутивнымъ поклономъ.

— Вы очень милы,—отвѣчала она и снова обвела комнату взглядомъ, въ которомъ читалось ея желаніе, чтобы визитъ посѣтителей сошелъ какъ можно короче. Когда же графъ сказалъ ей, что они только выпьютъ у нея чашку шоколада и сейчасъ же уйдутъ, то она просіяла и, забывъ роль больной, живо вышла изъ комнаты отдать приказанія служанкѣ, а графъ въ это время спросилъ своего спутника:

— Какова-съ?

— Эта дама очень красива.

— Да, это лицо сотворено для художника,—и она позировала передъ Майковымъ. Приятный художникъ. Я его зналъ еще въ двѣнадцатомъ году, когда онъ былъ офицеромъ. Очень нѣжно пишетъ. Государь любитъ его

кисть. У меня есть нѣсколько головокъ Марьи Степановны, но тутъ у нея у самой есть съ нея этюдъ, гдѣ видно больше чѣмъ одна головка... Это ничего, что она полна. Майковъ былъ ею очарованъ. Говорятъ, будто онъ религиозенъ,—я этого не знаю, но онъ въ беззащитномъ родѣ пишетъ прелестно. Вы видали его произведенія въ этомъ родѣ?

— Нѣтъ,—я о нихъ только слышала.

— Ну, такъ вы сейчасъ это можете видѣть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкринъ почти втянулъ офицера за собою въ спальню красавицы, гдѣ надъ газированнымъ уборнымъ столомъ висѣлъ довольно большой, драпированный бархатомъ, портретъ Марьи Степановны. Портретъ дѣйствительно былъ хорошо написанъ, извѣстными нѣжными Майковскими лассировками и съ большою классическою открытостію, дозволяющею любоваться и формами, и живымъ и сочнымъ колоритомъ прелестнаго женскаго тѣла. Картина была вполнѣ мастерекая и вполнѣ достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но Майковскія лассировки были очень нѣжны, а офицеръ былъ отъ природы сильно близорукъ и, чтобы разсмотрѣть картину, долженъ былъ стать къ ней очень близко. Канкринъ его самъ къ этому и подвинулъ, подведя вилотную къ шпину убранному кисею туалетному столику.

Тутъ и случилось самое неожиданное происшествіе: офицеръ не замѣтилъ, какъ онъ запутался шпорами или саблей въ легкія оборки кисейной отдѣлки туалетнаго стола, а когда онъ нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сдѣлалъ другую, еще бѣдшую. Желая освободить себя изъ волнъ кисеи, онъ приподнял полу чехла и остолбенилъ: глазамъ его, какъ равно и глазамъ графа, представились подъ столомъ двѣ неизвѣстно кому принадлежащія ноги въ мужскихъ саногачъ и двѣ руки, которыя обхватывали эти ноги, чтобы удержать ихъ въ ихъ неестественномъ компактѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Молодой офицеръ былъ преисполненъ жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и въ то же время ему разомъ хотѣлось смѣяться, и было жаль и этой дамы, и

графа, и того неизвѣстнаго счастливца, кому принадлежали обрѣтенныя ноги.

Но положеніе сдѣлалось еще труднѣе, когда офицеръ оглянулся и увидалъ, что сама Марья Степановна успѣла возвратиться и стояла тутъ же на порогѣ открытой двери.

«Вотъ, чортъ возьми, положеніе!» подумалъ онъ, и въ его головѣ вдругъ промелькнуло, какъ такія вещи разыгрываются у людей той или другой націи и того или другого круга, но вѣдь это все здѣсь не годится... Вѣдь это Канкринъ! Онъ долженъ быть умнѣе вездѣ, во всякомъ положеніи, и если въ данномъ досадномъ и смѣшномъ случаѣ Марья Степановнѣ предстояла задача показать присутствіе духа, болѣе чѣмъ нужно на сѣдлѣ и съ ружьемъ въ рукахъ, то и онъ долженъ явить собою примѣръ благо-разумія!

Между тѣмъ картина не могла оставаться нѣмою,—и графъ былъ, очевидно, того же самаго мнѣнія.

Видя всеобщее удрученіе нѣмою сценою, графъ, нимало не теряя своего спокойнаго самообладанія, нагнулся къ задранированному столу, изъ-подъ котораго торчали ноги, и привѣтливо позвалъ:

— Милостивый государь!

Отвѣта не было.

— Молодой человѣкъ!—повторилъ графъ.

Ноги слегка вздрогнули.

— *Mon enfant*,—обратился графъ къ Марья Степановнѣ:— не можете ли вы мнѣ сказать, какъ зовутъ этого страннаго молодого человѣка?

— Его зовутъ Иванъ Павловичъ,—отвѣчала, покраснѣвъ, но съ задоромъ въ голосѣ хозяйка *).

— Прекрасная вещь, но какъ жаль, что онъ такъ застѣчивъ! Зачѣмъ онъ отъ насъ причется?

— Такъ... просто застѣчивъ...

— Чтò за причуды сидѣть подъ столомъ!

— Онъ прекрасно вышиваетъ и помогалъ мнѣ вышивать сюрпризъ ко дню вашего рожденія, и... сконфузился.

— Сюрпризъ ко дню моего рожденія...

Графъ послалъ ей рукою по воздуху поцѣлуй и добавилъ:

*) Имена героя и героини я ставлю не настоящія и фамиліи ихъ не обозначаю. Отъ этого изображеніе эпохи и нравовъ, надѣюсь, ничего не теряютъ.—Н. Л.

— *Merçi, mon enfant.* Иванъ Павловичъ, выходите: вамъ тамъ совсѣмъ неловко вышивать.

Гость подъ столомъ фыркнулъ отъ смѣха и самымъ беззаботнымъ, веселымъ голосомъ отвѣчалъ:

— Дѣйствительно, ваше сіятельство, неудобно.

И съ этимъ вдругъ, какъ арлекинъ изъ балаганнаго лока, передъ ними появился питатскій молодецъ въ сюртучкѣ не первой свѣжести, но съ веселыми голубыми глазами, пунцовымъ ртомъ и такими русыми кудрями, отъ которыхъ, какъ отъ нагрѣтой проволоки, тепломъ шлоило...

Канкринъ подалъ ему съ лжавинаго на столѣ серебрянаго plateau большую черепаховую гребенку и сказалъ:

— Поправьте вану прическу.

— Это напрасно, ваше сіятельство.

— Нѣтъ, она у васъ въ безпорядкѣ.

— Все равно, ваше сіятельство, ихъ причесать нельзя.

— Отчего?

— Они у меня не ложатся.

— Какъ не ложатся?

— Никогда, ваше сіятельство, не ложатся.

— Слышите!—обратился графъ къ офицеру; тотъ улыбнулся.

— Ну, а если ихъ—эти ваши волосы намочить водою?

— И тогда не ложатся!

— Вотъ такъ натура!—подхватилъ графъ, и то же самое повторилъ, оборотаясь къ офицеру, а Марья Степановна сказала по-французски:

— А вы напрасно говорите, что онъ конфузливъ.

— Онъ теперь оправился, потому что вы его обласкали.

— А-а, это очень быть-можетъ,—согласился графъ и закончилъ:

— Ведите же насъ, милая хозяйка, къ вашему столу.

Съ этимъ онъ подалъ Марья Степановна руку и провелъ ее къ столу, гдѣ всѣхъ ихъ ожидалъ шоколадъ.

На Ивана Павловича дѣйствительно была сказана напраслина, будто онъ конфузливъ; но тѣмъ не менѣе онъ все-таки не зналъ, куда дѣть глаза, и министръ вступился въ его положеніе и началъ его спрашивать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Служите ли вы гдѣ-нибудь, молодой человекъ?

- Служу, ваше сіятельство.
- И что же: везеть ли вамъ на службѣ?
- Не знаю, какъ вамъ объ этомъ доложить.
- Ну, какое вы, наиримѣрь, занимаете мѣсто?
- Канцелярскій чиновникъ.
- Еще не высоко! А давно уже служите?
- Пять лѣтъ.
- Что же васъ не подвигаютъ?
- Протекціи не имѣю, ваше сіятельство.
- Надо имѣть не протекцію, а способности и доброе прилежаніе, при добромъ поведеніи. Это гораздо надежнѣе.
- Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство.
- Что значитъ ваше «никакъ нѣтъ»?
- Протекція гораздо надежнѣй.
- Что за вздоръ вы говорите!
- Нѣтъ-съ, это дѣйствительно такъ.
- Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать такъ стыдно.
- Отчего же, ваше сіятельство, стыдно,—я это беру съ практики.
- Съ какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы такъ молоды.
- Молодъ, дѣйствительно, ваше сіятельство, но всё такъ говорить, и я тоже по себѣ заключаю: я считаюсь и способнымъ, и все стараніе прилагаю, и ни въ чемъ предосудительно въ поведеніи не замѣченъ, въ этомъ, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться можетъ, потому что я ей уже три года извѣстенъ...
- Ахъ, вы уже три года знакомы!—перебилъ графъ.— Это раньше меня!
- Нѣсколько менѣе,—замѣтила Марья Степановна.
- Да, дѣйствительно, менѣе, — подхватилъ Иванъ Павловичъ.
- Онь, однако, вовсе не застѣнчивъ,—шеннулъ ей на ухо графъ.
- Вы его обласкали.
- Правда ваша, правда.
- А кто это, молодой человекъ, вашъ главный начальникъ, при которомъ такъ мало значать труды и способности, а все зависитъ отъ протекціи?

— Прошу прощенія у вашего сіятельства: этотъ вопросъ меня затрудняетъ.

— Не стѣснитесь! Мы здѣсь встрѣтились просто у общей знакомой—милой и доброй дамы и можемъ говорить откровенно. Кто вашъ главный начальникъ?

— Вы, ваше сіятельство.

— Какъ я!

— Точно такъ, ваше сіятельство: я служу въ министерствѣ финансовъ.

— Ну, послушайте,—обратился графъ по-французски къ Марьѣ Степановнѣ:—онъ совершенно незащѣпчивъ.

Та сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Отчего же я васъ, Ивацъ Павловичъ, никогда не видалъ?—спросилъ графъ.

— Пѣтъ, вы изволили меня видѣть, только не замѣтили. Я во всѣ праздники являюсь и расписываюсь на канцелярскомъ листѣ раньше многихъ.

— Да какъ же, наконецъ, ваша фамилія?

— Я называюсь N—овъ.

— N—овъ,—такъ я произношу?

— Точно такъ, ваше сіятельство.

— Ну, adieu, mon enfant,—обратился графъ къ дамѣ:—и au revoir, monsieur N—овъ.

Графъ и его спутникъ простились, сѣли на своихъ коней и уѣхали.

Наблюдавшій всю эту любопытную сцену офицеръ замѣтилъ, что Марья Степановна различила разницу посланнаго ей графомъ «adieu» отъ адресованнаго Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этимъ не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то онъ при отъѣздѣ гостей со двора выстроился у окна и смотрѣлъ совсѣмъ побѣдителямъ, а завитки его жесткихъ, какъ сталь, волосъ казались еще сильнѣе наэлектризованными и топорщились кверху.

«Чортъ меня знаетъ, на какое я налетѣлъ происшествіе»,—думалъ офицеръ и ощущалъ сильное желаніе какъ можно скорѣе разстаться съ графомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

То же самое, въ свою очередь, испытывалъ и Канкринъ. И ему, разумѣется, не было теперь удовольствія вѣхать

съ-глазу-на-глазъ вдвоемъ съ малознакомымъ щегольскимъ офицеромъ, который видѣлъ его въ смѣшномъ положеніи.

Какъ только они выѣхали за Новую Деревню, на лужайку къ Лѣсному, графъ говоритъ:

— Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицеръ понялъ, что тотъ хочетъ отъ него отдѣлаться, и самъ этому случаю обрадовался.

— Я, говоритъ, — хотѣлъ бы заѣхать къ одному товарищу здѣсь, въ Старой Деревнѣ.

— Что же, и прекрасно, вы не стѣсняйтесь. А я поѣду на Каменный навѣстить графа Панина.

Имъ дальше было не по дорогѣ.

Графъ остановилъ коня и крѣпко, дружески пожать офицеру руку.

Тотъ ощутилъ въ этомъ пожатіи цѣлую скромную просьбу и въ молчаливомъ поклонѣ умѣлъ выразить готовность ее исполнить.

— Спасибо, — отвѣчалъ Канкринъ, и они расстались.

Графъ, однако, обманулъ своего молодого друга, — онъ не поѣхалъ къ Панину, а возвратился домой и прошелъ къ супругѣ. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) въ это время принимала у себя какого-то иностранца-піаниста, котораго привезъ ей напоказъ частый ея гость, извѣстный въ свое время откупщикъ Жадовскій.

Графиня и Жадовскій сидѣли и слушали артиста, который съ величайшимъ стараніемъ показывалъ имъ свое искусство въ игрѣ на фортепіано.

Графъ даже не вошелъ въ комнату, а только постоялъ въ открытыхъ дверяхъ, держась обѣими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня съ Жадовскимъ похлопали польщенному артисту, Канкринъ, махнувъ рукою, произнесъ безцеремонно «miserable Klimperei», и застучалъ своими галонами по направлению къ своему темному кабинету.

Здѣсь онъ надѣлъ на лобъ козырекъ отъ фуражки, служившій ему вмѣсто тафтяного зонтика, и сѣлъ за работу передъ большимъ подсвѣчникомъ, въ которомъ горѣли въ рядъ шесть свѣчей подъ темнымъ абажуромъ.

На половинѣ «кавалеръ-дамы» Екатерины Захаровны (такъ величалъ ее покойный графъ) долго еще оставались откупщикъ и артистъ, и раздавалась «miserable Klimperei»,

а графъ все сидѣлъ и, можетъ-быть, обдумывалъ одинъ изъ своихъ финансовыхъ плановъ, а можетъ быть просто дремалъ послѣ прогулки на лошади. Но только возвратившійся домой спутникъ графа видѣлъ съ своего балкона силуэтъ Канкринна на марши заставокъ очень долго, а утромъ рано опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что Канкринъ всталъ, умылся и, вмѣсто утренней молитвы, играетъ въ своей темной уборной.

Значить, его настроеніе находится въ полномъ порядкѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день, при докладѣ, Канкринъ обратился къ директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросилъ: есть ли у него канцелярскій чиновникъ по фамиліи N—овъ?

Княжевичъ этого навѣрно и самъ не зналъ, но отвѣчалъ, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у эзекутора, — оказалось, что дѣйствительно есть чиновникъ N—овъ.

— А давно ли онъ служить и гдѣ воспитывался?

Отвѣчаютъ, что служить уже около пяти лѣтъ (совершенно вѣрно, какъ говорилъ самъ Иванъ Павловичъ). А происходитъ онъ изъ небогатыхъ курскихъ дворянъ, мать его была въ Суджѣ акушеркою, а онъ обучался на средства какого-то благодѣтеля въ курской гимназіи и окончилъ курсъ.

Графъ это выслушалъ и говоритъ:

— Я его видѣлъ. Въ курской гимназіи хорошо воспитываютъ. У насъ образованныхъ молодыхъ людей немного еще: нельзя ли намъ его какъ-нибудь по службѣ поощрить?

А Александръ Максимовичъ Княжевичъ былъ иногда упрямъ и съ странностями; онъ отвѣчалъ:

— У меня нѣтъ никакихъ вакансій.

Только тутъ же случился директоръ другого департамента, который былъ ловчѣе; этотъ и вызвался:

— У меня, говоритъ, — ваше сіятельство, въ одномъ отдѣленіи есть мѣсто помощника столоначальника, и мнѣ образованный, скромный молодой человекъ очень нуженъ.

Канкринъ поблагодарилъ этого директора и мѣсто Ивану Павловичу тотчасъ дали.

Какъ онъ былъ радъ — ужъ это можно представить, по

только на другой день, но подписаніи приказа, директоръ призвалъ Ивана Павловича къ себѣ и говоритъ:

— Есть ли у васъ вицъ-мундиръ?

Иванъ Павловичъ отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство: я занималъ до сихъ поръ некласную должность и вицъ-мундира себѣ не шилъ да и шить не за что.

— Ну, теперь,—отвѣчаетъ директоръ:—вы повышены, и на классной должности вамъ вицъ-мундиръ необходимъ. Я назначу вамъ изъ канцелярскихъ суммъ полтора ста рублей пособія, — извольте ихъ получить и немедленно же закажите себѣ хорошій вицъ-мундиръ. Совѣтую вамъ сдѣлать его на Васильевскомъ Островѣ у портного Доса. Онъ самъ англичанинъ и всѣмъ англичанамъ работаетъ. Его фракки очень солидно сидятъ, что для формы идетъ. Можете ему сказать, что я васъ прислалъ: онъ и мнѣ тоже работаетъ.— А когда будете одѣты, прошу ко мнѣ явиться.

Досъ сшилъ Ивану Павловичу такую вицъ-мундирную пару, что тотъ сразу получилъ видъ, по крайней мѣрѣ, молодого сенатора.

— Чудесно сшито,—похвалилъ директоръ.—Теперь извольте же завтра представиться въ этомъ вицъ-мундирѣ графу и поблагодарить его, такъ какъ вы вашимъ повышеніемъ обязаны непосредственному вниманію его сіятельства къ вашимъ способностямъ и воспитанію.

«Эхъ, ты, чортъ возьми, какая загвоздка!» — подумалъ Иванъ Павловичъ.

Онъ и самъ чувствовалъ въ себѣ большую потребность благодарить графа, но, при воспоминаніи объ обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому начальственному вниманію, мысли молодого человѣка путались. Ивану Павловичу казалось и смѣшно, и даже какъ будто дерзко напоминать о себѣ графу предъявленіемъ ему своей интересной самоличности. Иванъ Павловичъ думалъ такъ, что если онъ не пойдетъ благодарить, то это будетъ лучше: графъ навѣрно не сочтетъ этого за непочтительность, а, напротивъ, похвалитъ его скромность; но директоръ понималъ дѣло иначе и настоялъ, чтобы Иванъ Павловичъ непременно пошелъ представляться и благодарить.

Дѣлать нечего, надо было повиноваться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ нарочитый день, когда Канкринъ принималъ чиновниковъ своего вѣдомства, сталъ передъ нимъ въ числѣ представлявшихся и Иванъ Павловичъ.

Только этотъ застѣчивый человекъ, — сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, — помѣстился ниже всѣхъ, въ самомъ концѣ шеренги представлявшихся чиновъ. Этимъ Иванъ Павловичъ оказалъ скромность передъ другими болѣе сановными лицами, а себѣ предуготовилъ ту выгоду, что, оставаясь послѣднимъ, онъ могъ принести свою благодарность министру насдинѣ.

Дѣйствительно, такъ и пришлось: Канкринъ отпустилъ по очереди всѣхъ представлявшихся, а потомъ подошелъ къ послѣднему Ивану Павловичу и, не смотря ему въ лицо, протянулъ руку, чтобы принять прошеніе.

Иванъ Павловичъ поклонился и молвилъ:

— Я, ваше сіятельство, не съ прошеніемъ.

Канкринъ вскинулъ на него глаза и проговорилъ:

— Что же вамъ угодно?

— Я являюсь по приказанію директора, чтобы благодарить ваше сіятельство.

— За что?

— Я получилъ мѣсто...

— Прекрасно... я очень радъ... Значить, вы его заслужили.

— Господинъ директоръ мнѣ объявилъ, что вы сами изволили оказать мнѣ въ этомъ помощь.

— Очень можетъ быть: вы мнѣ помогали, а я вамъ помогъ. Это такъ и слѣдовало. Желаю вамъ счастливо подвигаться впередъ.

Графъ поклонился и ушелъ, а директоръ призвалъ къ себѣ въ кабинетъ Ивана Павловича и спросилъ его, что съ нимъ говорилъ министръ при представленіи.

Иванъ Павловичъ отвѣчалъ:

— Графъ изволили быть со мной очень милостивы и пожелали мнѣ «счастливо подвигаться впередъ».

Директоръ сдѣлалъ жестъ и говоритъ:

— Это прекрасно, — вы можете считать себя устроеннымъ: графъ очень проницателенъ и онъ не ошибся отмѣтить въ васъ способнаго молодого человека, которому стоило

только сдѣлать первый шагъ. Этотъ шагъ теперь вами и сдѣланъ, а дальнѣйшее зависитъ не отъ однихъ вашихъ стараній, но также и отъ сообразительности,—присядьте.

Иванъ Павловичъ поклонился.

— Присядьте, присядьте, — повторилъ директоръ, показывая ему на стулъ.

Тотъ сѣлъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

— Финансовая служба, — заговорилъ директоръ: — это не то, что какая-нибудь другая служба. Она имѣетъ свои особенности. Здѣсь идетъ дѣло не о юридическихъ фантазіяхъ, а о хозяйствѣ, — о всемъ, такъ сказать, достоиніи Россіи. Вотъ почему люди, которые допускаются къ финансовымъ должностямъ, облачаются большимъ довѣріемъ начальства, и потому они должны быть ему крѣпки... Они должны, такъ сказать, представлять начальству въ самихъ себѣ прочное ручательство, что, кромѣ естественно въ каждомъ честномъ человѣкѣ предполагаемаго сознанія собственнаго достоинства и священнаго долга, они скрѣпили себя другими узамъ, которыя въ своемъ родѣ тоже равны присягѣ, потому что онѣ произносятся передъ алтаремъ и начертываются въ сердцахъ...

Директоръ былъ немножко поэтъ, но Иванъ Павловичъ въ ту же минуту умѣлъ переложить его оду на обыкновенный прозаическій языкъ.

— Я говорю о томъ, — сказалъ директоръ: — что въ финансовомъ вѣдомствѣ довольно трудно полагаться на холостыхъ людей. Холостые люди — они, какъ мотыльки или какъ перелетныя птички, всегда готовы порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ, съ вѣтки на вѣтку. Посидѣлъ, вспорхнулъ — и вѣтъ его, и ницъ гдѣ знаешь. Въ военной службѣ это, напримѣръ, даже принято, но по финансовой службѣ это невозможно. Настоящій финансистъ, если онъ желаетъ внушать къ себѣ полное довѣріе, непремѣнно долженъ имѣть дорогихъ и близкихъ его сердцу существъ... Понимаете, чтобы ему было къ кому чувствовать привязанность и было чѣмъ и для кого дорожить собою.

Директоръ чувствовалъ, что говоритъ вздоръ, и спѣшилъ окончить.

— Я разумѣю то, — заключилъ онъ: — что финансистъ

непремѣнно долженъ быть женатъ и имѣть семейство. Да, да, да! Непремѣнно! И я разумѣю не какое-нибудь вѣтрое семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансистъ, если онъ желаетъ представлять собою надежныя за себя ручательства, непремѣнно долженъ быть женатъ. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, котораго я не назову вамъ, разъ прямо высказало мнѣ свою тайную задушевную мысль, что, по его мнѣнью, отвѣтственные должности по финансовому вѣдомству предпочтительно надлежитъ доверять людямъ женатымъ. И мы этого держимся, если по совѣмъ безъ отступленій, то по возможности мы женатымъ даемъ преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляютъ какъ слѣдуетъ. И я хотѣлъ бы сказать, что это прекрасныя правила, выработанныя практикой и освященные временемъ. И для того, кто имѣетъ благородное честолюбіе и кто способенъ никогда не упускать изъ виду сдѣлать себѣ быструю и хорошую карьеру, — я надѣюсь, что я не говорю ничего необычайнаго и новаго. Кто религіозенъ и кто уважаетъ заповѣдь Божию, тотъ долженъ знать, что «не благо быть человѣку одному». Этому положенію обойти нельзя, ибо оно вѣчно, ибо это... такъ...

Директоръ поднялся съ своего кресла, вознесъ вверхъ правую руку съ двумя выпрямленными пальцами и закончилъ:

— Такъ сказалъ о человѣкѣ самъ Богъ!

Съ этимъ сановникъ вручилъ свои два пальца Ивану Павловичу и отпустилъ его со словами:

— И я такъ вамъ совѣтую, и желаю вамъ счастья и успѣховъ. Вашъ столоначальникъ почти такой же, какъ вы, молодой человѣкъ съ прекраснымъ образованіемъ и сердцемъ. Вамъ съ нимъ будетъ приятно. Въ немъ много самолюбія, и оиъ на своемъ нынѣшнемъ посту долго не засидится. Я не люблю оставлять безъ поощренія людей способныхъ и меня понимающихъ. Томить людей не слѣдуетъ, и никого изъ моихъ подчиненныхъ не томить — это мое правило.

Они поклонились другъ другу самымъ пристойнымъ и самымъ выразительнымъ манеромъ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дѣло его имѣло надлежачей видѣ, онъ подалъ своему директору записку о разрѣшеніи ему вступить въ законный бракъ съ Марьей Степановной.

Графъ Канкринъ хотя съ неудовольствіемъ, но все-таки не отказалъ въ просьбѣ Марьи Степановны и былъ у нея посаженнымъ отцомъ.

Иванъ Павловичъ для этого случая обнаружилъ всю тонкость своего практическаго ума: онъ устроилъ свадьбу «по-англійски» — тихую, въ маленькой домово́й церкви, состоявшей на особыхъ правахъ.

Министръ ни малѣйшимъ образомъ не имѣлъ причины пожалѣть о томъ, что онъ уступилъ *последней* просьбѣ своей милой знакомой, которой уже ранѣе сказалъ свое «adieu».

Она ему, впрочемъ, напомнила объ этомъ «adieu», когда, по пріѣздѣ изъ церкви, осталась на короткое мгновеніе вдвоемъ съ глазу на глазъ съ графомъ.

— «Adieu», — сказала она: — можетъ говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили — это на васъ не похоже.

Графъ извинился разсѣянностью.

— Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самыя лучшія философскія правила.

— Напримѣръ, какія?

— Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учили, и я помню.

Графъ засмѣялся, какъ будто этимъ ему было приведено на память что-то очень смѣшное и въ то же время пріятное.

— А что, видите, — вы мнѣ вѣрно не льстили, находя у меня «философскую складку».

— О, я вамъ нимало не льстила! Вы не только имѣете «философскую складку», но вы совсѣмъ великій практическій философъ.

— И что же, должна ли я теперь сказать вамъ «adieu»?

— Mon ange, — вы можете попрежнему сказать au revoir.

И онъ взялъ и поцѣловалъ ея руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему въ отвѣтъ:

— Попрежнему.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ немедленно же получилъ мѣсто столоначальника и былъ очень счастливъ въ своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и не трудно, потому что она этого молодца въ самомъ дѣлѣ любила. Изъ ея приглашенія графа къ «прежнему» для супружескаго счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающаго. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться въ кокетствѣ по одной любви къ этому искусству. Итъ, Марья Степановна была умная женщина и именно русская умная женщина, съ практическимъ закаломъ. Она широко обозрѣвала раскрывающееся передъ нею поле жизни и умѣла отличать кажущееся отъ существеннаго. Въ самомъ ея красивомъ обличьи тонкія черты новогреческаго типа, если всматриваться въ нихъ, напоминали одновременно старыи византизмъ и славянскую смышленность. Въ ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдовѣ Мамелефѣ Тимошеевиѣ», передъ которою въ раздумь тыкали посошками въ землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабѣ имъ негоже надъ бабьею головою тѣшиться. Весь разговоръ, веденный Марьей Степановной съ цѣлю упомянуть про «прежнее», былъ умный пріемъ не для возобновленія прежнихъ «пустяковъ», изъ которыхъ Марья Степановна выбралась совѣмъ не за тѣмъ, чтобы къ нимъ возвращаться, «какъ песь на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорумъ. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стѣитъ честной жены пастуха» — и она вышла замужъ недаромъ не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотѣла. Уважала или нѣтъ она своего Ивана Павловича, — это иной вопросъ: умныя, практическія женщины рѣдко кого уважаютъ, да имъ это и не нужно; но она его *любила*, и этого съ нея было довольно, чтобы сдѣлать для него привязанность къ ней легкою, пріятною и ничѣмъ не возмутимою.

Какъ большинство женщинъ подобнаго пракческаго склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что онъ молодецъ собою, а притомъ расторопентъ, смѣтливъ и ей

послушень. Онъ ей во всемъ станетъ вѣрить: она его ни въ чемъ не обманетъ—именно потому, что онъ ей очень правится, и они вдвоемъ заживутъ въ мирѣ и согласіи безъ всякаго уваженія, и возьмутъ съ жизни на свой бенефисъ прехорошую срывку.

А о томъ, что о нихъ будутъ говорить, что о нихъ станутъ думать, — этому вздору она знала настоящую цѣну.

«Будь бѣла какъ снѣгъ и чиста какъ ледъ и — все равно — людская клевета тебя очернить».

Играя съ графомъ на «прежнихъ» струнахъ, она знала, что аккордъ зазвучитъ такъ, какъ она захочетъ.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, былъ ей извѣстенъ; она знала, что въ немъ есть нѣкоторая теплота, но не осталось уже ни малѣйшей доли опаснаго пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ея цѣлей. Въ ней именно и нуждалось ихъ все-таки пока еще совсѣмъ неустроенное и несогрѣтое домашнее гнѣздышко. Графъ былъ нуженъ,—и Иванъ Павловичъ зналъ это ничуть не менѣе, чѣмъ его супруга. А потому, когда Канкринъ, считая себя совершенно уединеннымъ съ Марьей Степановной, цѣловалъ ея пальчикъ въ знакъ возстановленія чего-то «прежняго», — Иванъ Павловичъ, стоя за дверью съ шампанскою бутылкою, придерживая подрѣзанную пробку, чтобы она не хлопнула ранѣе, чѣмъ разговоръ будетъ конченъ.

Онъ явился съ виномъ какъ разъ во-время и кстати, когда все нужное уже было сказано.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ, при всей его малозначительности для такого несомнѣнно большого человѣка, какъ графъ Канкринъ, сдѣлался тѣмъ, что былъ какой-то сомнительный духъ, вызванный изъ какой-то бездны словомъ очень неосторожнаго аскета.

Выскочилъ Иванъ Павловичъ передъ графомъ изъ-подъ уборнаго стола неожиданно, какъ гороховый ростокъ изъ пуша индійскаго деревца, котораго описываютъ болтливый французъ Жаколю, а убрать его назадъ съ глазъ долой сдѣлалось трудно.

Это произошло, во-первыхъ, отъ изящной манеры графа

никогда не оставлять безъ вниманія тѣхъ дамъ, съ которыми онъ былъ однажды ласковъ, и во-вторыхъ—тутъ оказались на античныхъ ручкахъ Марьи Степановны (которымъ могла позавидовать Лавальеръ) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимоѣевны.

Графъ былъ пораженъ, какъ начальникъ колѣна Иуды, отъ собственныхъ чреслъ своихъ: онъ не могъ отбиться отъ предупредительнаго желанія угодить ему въ лицѣ Ивана Павловича. Этотъ молодой счастливецъ въ началѣ слѣдующаго года былъ представленъ уже въ начальники отдѣленія. Кашкринъ его утвердилъ — хотя, впрочемъ, освѣдомился:

— Что же, развѣ онъ очень способенъ?

Ему отвѣчали: — О, да-съ; онъ очень способенъ.

Министръ не имѣлъ никакихъ причинъ оспаривать заключенія ближайшаго начальника, и Иванъ Павловичъ сталъ начальникомъ отдѣленія.

Это великій урядъ въ департаментской іерархіи. Съ этого уряда начинается уже пріятная положительность не только въ департаментѣ, но и въ мірѣ. Начальника отдѣленія уже не вышвыриваютъ изъ службы, какъ мелкую сошку, а съ нимъ церемонятся и даже въ случаѣ обнаруженія за нимъ какихъ-нибудь большихъ грѣховъ — его все-таки спускаютъ благовидно. Начальникъ отдѣленія получаетъ позицію — онъ уже можетъ пробираться въ члены благотворительныхъ обществъ, а оттуда его начинаютъ «проводить въ дома». И положеніе его все лѣпится глаже и выше.

Для жены чиновника достиженіе мужемъ мѣста начальника отдѣленія было еще важнѣе. Теперь это значительно измѣнилось, потому что іерархія вообще разслабилась и потеряла престижъ, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Всѣ жены лицъ низшаго положенія иначе не назывались, какъ «наши чиновницы», ниже которыхъ были одиѣ курьерши, а съ жень начальниковъ отдѣленій уже начинались «наши министерскія дамы». Эти уже не ходили на Пасху въ приходскій храмъ, а пріѣзжали въ «свою министерскую церковь», гдѣ ихъ съ предупредительностію провожали дежурный чиновникъ и подавали унесенное изъ канцеляріи мужнино кресло; дьяконъ подкаждалъ имъ граціознымъ движеніемъ щегольеки рокочущаго кадила съ стирасой, а батюшка говорилъ: «цвѣтите и благоухайте!»

Послѣ пасхальнаго служенія, у начальницъ отдѣленія уже нерѣдко цѣловали ручки даже сами директоры, а взаимнѣнъ того мужья начальницъ поздравляли лично директоршъ...

Это уже былъ «министерскій кругъ», соприкасающійся съ «кабинетомъ», а не канцелярія, которая граничитъ съ курьерской.

Иванъ Павловичъ съ Марьей Степановной преодолѣли эти ступени, но они не думали на нихъ остановиться. Да, по правдѣ сказать, это имъ было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положенія была теперь въ порядкѣ, но въ неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*ci-devant*» и немножечко отъ нея сторонились.

Надо было сдѣлать что-нибудь такое, чтобы образовать свой кругъ и заставить отдать справедливость своимъ способностямъ, которыя, въ самомъ дѣлѣ, были достойны вниманія.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла поводъ видѣться со Скобелевымъ, который когда-то зналъ ее ничѣмъ не знаменитаго отца. Старый комендантъ тоже былъ не прочь приволокнуться и обошелся привѣтливо съ милой дамой, а она заинтересовалась его разсказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературѣ и увидала, что въ Россіи ничего нѣтъ легче какъ это. Скобелевъ заходилъ къ ней пить чай и иногда излагалъ такіе разсказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкусъ къ простонародности, — тамъ столько сердца, ума и юмора...

Скобелевъ находилъ, что все это есть и въ самой въ ней.

Въ самомъ дѣлѣ: развѣ находка у нея нынѣшняго мужа въ нѣкоторомъ родѣ не самая простонародная сцена? Развѣ это не отдаетъ «Москалемъ Чаривникомъ»?.. Какъ хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодованіе къ выходкамъ противъ Бѣлинскаго. Скобелевъ ей открылъ болѣе, и она добилась случая видѣть разъ знаменитаго критика. Потомъ у ней пилъ чай и что-то читалъ Николай Полевой, и кто-то съ кѣмъ-то спорилъ о славянофилахъ и о необычайномъ умѣ молодого Хомякова.

Это произвело свое дѣйствіе: «министерскія дамы» измѣ-

пили негликированную презрительность на сосредоточенную сухость, въ которой одновременно ощущались и надменіе, и зависть.

Съ такимъ недоброжелательствомъ со стороны искреннихъ уже можно было жить.

Марья Степановна пошла жожинать плоды умнаго по-сѣва.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Марья Степановна, разумѣется, не могла любить литературу, а имѣла ее лишь только для своихъ практическихъ цѣлей. Литература представляетъ большое удобство, когда хочешь говорить о чемъ-нибудь, а не о комъ-нибудь, — такъ однако, чтобы это было для насъ полезно. Она усвоила двѣ-три мысли Бѣлинскаго, знала какое-то непримиримое положеніе Хомякова и склонилась на сторону Иннокентія противъ Филарета. Словомъ, впаала, что называется, въ сферу высшихъ вопросовъ.

Это дало ей апломбъ и заставило многихъ кивать головами: «чѣмъ-то это кончится?»

Иванъ Павловичъ уже былъ сдѣланъ вице-директоромъ. Полагали, что это по женѣ, у которой такія прекрасныя, хотя, быть-можетъ, и не безопасныя знакомства.

Только она уже очень рисковала. Графъ Канкринъ былъ человѣкъ довольно свободныхъ взглядовъ, однако, сказывали, что и онъ, подписывая назначеніе Ивана Павловича вице-директоромъ, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила съ невѣроятною преданностію: какъ нарочно, случались такія дѣла, что надо было командировать туда и сюда лицъ способныхъ и достойныхъ, и всякій разъ министру представляли для такихъ дѣлъ Ивана Павловича.

Это было очень непріятно Канкрину, и онъ одно представленіе отложилъ въ сторону, — сдѣлать было неудобно; но черезъ нѣсколько дней графъ былъ на одномъ музыкально-литературномъ «soirée intime», куда гости попадали не иначе, какъ сквозь фильтръ, — и вдругъ тамъ, въ одномъ укромномъ уголкѣ, графъ встрѣтилъ скромную женскую фигуру, которая ему сдѣлала глубокій поклонъ съ оттѣнкомъ подчиненности и проишія, и произнесла только одно слово:

— Excellence!

Графъ не ожидалъ ее здѣсь встрѣтить и, немпожко взволновавшись, взялъ ее за руку и сказалъ:

— Ахъ, мой другъ,—вѣдь ужъ для него много сдѣлано—что же такое нужно, чтобы я еще сдѣлалъ?

— Только не мѣшайте.

Графъ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Это напоминаетъ комедію: «Одно слово министру». — Ну, хорошо: я подишу.

И онъ подписалъ Ивану Павловичу новое повышеніе.

Сила ея надъ графомъ была доказана. Пусть онъ и морщится, когда ему представляютъ Ивана Павловича, но въ общемъ сочетаніи различныхъ комбинацій все-таки пріятно. Вскорѣ къ протекціи Марьи Степановны стали прибѣгать сторонніе люди, имѣвніе въ графѣ надобность по дѣламъ, и престранная вещь—тоже выходило уцѣбно...

Было ли это случайное совпаденіе обстоятельствъ, или нѣтъ,—въ этомъ трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, въ которомъ мѣняли все, упоминая что-то и про Иннокентія, и про Хомякова, — и вдругъ также что-то такое про взятку...

Словомъ, являлось острое положеніе, въ которомъ надо—какъ говорятъ игроки—«квитъ или двойной кушъ».

Марья Степановна повела на двойной кушъ, а объ Иванѣ Павловичѣ въ самую неожиданную минуту послѣдовало новое представленіе графу къ повышенію.

Графъ вскипѣлъ.

— Что такое!.. куда его еще!.. И притомъ я что-то слышалъ...

Представившій отлично зналъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, и хорошо нашелся.

— Да,—отвѣчалъ онъ:—я знаю, что говорятъ: это очень жалко, но это не его вина, — а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

— Что такое? Какія хомяковскія идеи? Это что-то про сорокъ мучениковъ... Я въ этомъ рѣшительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчасъ же гдѣ-то и какъ-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже безъ «excellence», а съ однимъ поклономъ и даетъ дѣлу желанное направленіе.

Увидавъ ее въ высококомъ кругѣ, графъ захотѣлъ, во что бы то ни стало, разъ и навсегда избавиться и отъ нея, и отъ ея мужа самымъ рѣшительнымъ пріемомъ.

— Онъ самъ съ нею остановился, самъ взялъ ее за руку и сказалъ:

— Я все, все сдѣлаю, но другимъ образомъ.

Марья Степановна отвѣчала:

— Я всегда вѣрю вашему рыцарскому слову.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Дѣло о карьерѣ Ивана Павловича приходилось завершать, — только бы не быть болѣе съ нимъ вмѣстѣ.

Графъ сдѣлалъ комбинацію. Другое лицо большого положенія — графъ Панинъ имѣлъ надобность въ услугѣ министра финансовъ.

Канкринъ ее сдѣлалъ скоро и охотно, а чрезъ нѣкоторое время явился просить за подчиненнаго, котораго заслугъ онъ не въ силахъ совмѣстить съ ограниченностію персонала по своему вѣдомству.

Графъ Панинъ пожевалъ и отвѣчалъ, что «совмѣщать» многое очень трудно, и свободнѣе другихъ это можетъ развѣ Перовскій, у котораго не перечестъ сколько хорошихъ мѣстъ, находящихся въ его власти.

Перовскій это и сдѣлалъ, а Канкринъ, подписывая бумагу о согласіи на переводъ Ивана Павловича въ другое вѣдомство, совсѣмъ неожиданно для предстоявшихъ перекрестился по-русски, какъ самъ Хомяковъ, и сказалъ:

— Это, какъ тамъ говорятъ, «нынче отпущасяи». На-копецъ, я не буду опасаться, что мнѣ представлятъ, чтобы я его утвердилъ начальникомъ самому себѣ.

Такъ всѣ были введены въ обманъ, и думали, будто, представляя Ивана Павловича, дѣлали графу неописанное удовольствіе, тогда какъ это было совсѣмъ напротивъ.

Но собственно «отпущенія» графу все-таки не было. Въ Петербургѣ поняли, что въ услужливости ему въ лицѣ Ивана Павловича было много ошибочнаго, но въ провинціи, куда этотъ карьеристъ поѣхалъ большимъ лицомъ и гдѣ первенствующее положеніе Марья Степановнѣ уже принадлежало по праву, они были встрѣчены иначе. Въ осѣдавшее тѣсто словно подпустили свѣжихъ дрождей, и оно пошло подниматься на опарѣ.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положенію и совмѣщала теперь это съ выгодами новаго положенія: она стояла выше того, чтобы ее подозрѣвать въ искательности: она говорила словами Бѣлинскаго «о человѣкѣ нравственно-развитомъ», слѣдила за Хомяковымъ, бесѣдовала съ Иннокентіемъ и... брала самыя отчаянныя взятки даже по такимъ вѣдомствамъ, которыя были чужды непосредственному вліянію ея мужа. Всѣ думали, что въ ея лицѣ заключается всеобщее надежное «совмѣстительство».

Съ кѣмъ она дѣлилась тѣмъ, что взимала,—это была ея тайна, но графъ напрасно думалъ, будто его рѣшительная мѣра отстраненія совмѣстителей отъ непосредственнаго участія въ вѣдомствѣ освободила его на самомъ дѣлѣ отъ ихъ вліянія.

— Совмѣстительство, какъ лесть, можетъ являться въ разнообразныхъ формахъ, и гдѣ не промчится звѣремъ рыскающимъ, тамъ проползетъ змѣею или перепорхнетъ легкой пташечкой. Надо свѣтъ передѣлать или, другими словами, приучить людей, чтобы они въ каждомъ дѣлѣ старались служить дѣлу, а не лицамъ. Вотъ это поистинѣ прекрасная задача, и добромъ вѣномянется имя того, кто ей съ умѣньемъ служить.

Такъ закончилъ свой рассказъ правдивый и умный человѣкъ, со словъ котораго мною теперь передана выше изложенная исторіяка «о совмѣстителѣ».

СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ.

«Что взаправду было и что міромъ
сложено—не распознаешь».

В. Даль.

Полагаю, что рѣдко кому не приводилось слышать или читать рассказъ о какомъ-нибудь болѣе или менѣе любопытномъ событіи, выдаваемый авторомъ или рассказчикомъ за *новое*, тогда какъ новость эта уже давно сообщена другими въ томъ же самомъ видѣ или немножко измѣненная. И читать, и слышать такія вещи бываетъ досадно. Еще досаднѣе, когда случится самому принять такой рассказъ за дѣйствительную новость и потомъ неосторожно передать его—какъ происшествіе, бывшее съ пріятелемъ или знакомымъ, живущимъ будто тамъ-то и тамъ-то. И вдругъ оказывается, что все это или было когда-то очень давно, въ Нормандіи, съ барономъ, который имѣлъ большую слабость къ исамъ и жилъ съ деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигдѣ не было. Такіе смѣшныя, а отчасти иногда и непріятныя казусы бывали, я думаю, съ каждымъ; но частный человѣкъ, не занимающійся литературою, не знаетъ, какъ легко можно подпасть тому же самому при литературныхъ занятіяхъ и во сколько досаднѣе и обиднѣе понасть съ этимъ не въ устной бесѣдѣ, а съ записью «чернымъ по бѣлому». Между тѣмъ въ послѣднее время, Богъ вѣсть по какимъ причинамъ, въ нашей литературѣ безпрестанно начинаютъ встрѣчаться сказанія о такихъ исторіяхъ, которыя уже давно оповѣданы.

И еще того удивительнѣе,—замѣчаются случаи, когда вы-

мысленный рассказ послѣ весьма небольшого промежутка времени объявляется за дѣйствительное событіе, или съ маленькими измѣненіями пересказывается заново какъ фактъ, имѣнный будто бы дѣйствительное бытіе въ другомъ мѣстѣ.

Въ первомъ родѣ мы не разъ доходили до повторенія заново старой выдумки объ «инерболѣ», поѣдавшей много сѣна, а во второмъ — я могу указать два лично меня касающіеся случая: первый былъ съ моимъ «Сказомъ о туйскомъ косомъ лѣвшѣ и о стальной блохѣ», а второй — съ рассказомъ «Путешествіе съ нигилистомъ». Оба эти рассказа нѣсколько лѣтъ тому назадъ мною *выдуманы* и напечатаны — первый въ «Руси», И. С. Аксакова, а второй — въ «Новомъ Времени», А. С. Суворина; но «Лѣвшу» критики объявили исторіей, которая имъ будто давно была извѣстна, а съ «Путешествіемъ съ нигилистомъ» случилось нѣчто еще болѣе странное. Этотъ послѣдній рассказъ состоялъ въ томъ, что нѣсколько человѣкъ, ѣдучи въ вагонѣ желѣзной дороги, вели будто бесѣду о различныхъ странахъ и мало-по-малу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдругъ имъ сталъ казаться подозрительнымъ молчаливый пассажиръ, передъ которымъ на лавочкѣ помѣщался маленькій чемоданъ. Отчего этотъ господинъ все молчитъ? Что это за поведеніе? Зачѣмъ передъ нимъ стоитъ чемоданчикъ? Что у него въ этомъ чемоданѣ? Можетъ-быть, это и есть «трахъ-тарарахъ»? И навѣрное такъ... Даже не можетъ быть иначе... Иначе онъ сдалъ бы чемоданчикъ въ багажъ — и тогда столь очевидная опасность для всѣхъ пассажировъ значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обезножились и посылаютъ къ незнакомцу дежурата съ вѣжливой просьбой удалить проклятый «трахъ-тарарахъ» изъ вагона. Посоль говоритъ: «не желаете ли вы сдать этотъ чемоданъ въ багажъ?» Пассажиръ отвѣчаетъ: «Не желаю». — «А! въ такомъ случаѣ мы къ начальству». Кондуктора, жандармы, станціонные — всѣ приступаютъ съ вопросомъ: «не желаете ли сдать», — но пассажиръ всѣмъ даетъ одинъ отвѣтъ: «Не желаю». И голосъ у незнакомца недобрый, и тонъ подозрительный, и видъ ожесточенный. Всѣ рѣшаютъ, что это «нигилистъ». Его берегутъ, глазъ съ него не спускаютъ и, наконецъ, у городской станціи требуютъ, чтобы онъ вышелъ. Онъ выходитъ очень охотно, потому что ему тутъ и надо было выйти,

но чемодана брать не хочется. — «Не желаете ли взять съ собою этотъ чемоданъ?» Онъ отвѣчаетъ: «Не желаю». Его ведутъ къ допросу, спрашиваютъ, кто онъ такой, и узнаютъ, что онъ «прокуроръ судебной палаты», а чемоданъ оказывается принадлежащимъ еврею, который скрывался безъ билета подъ лавкою. — Картина. Всѣ успокаиваются, смѣются и фдуть далѣе... И вдругъ все это вымышленное мною шуточное событіе будто бы повторяется въ дѣйствительности, и гдѣ же? — въ Италіи, съ предсѣдателемъ окружного суда изъ Равенны, проѣзжавшимъ черезъ маленькій городокъ Форли. Есть кое-какая перемѣна въ лицахъ и обстановкѣ, сообразно условіямъ мѣстности, но вся фабула та же.

Узнавъ объ этомъ 11-го января изъ «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

— Какъ, подумалось мнѣ: — неужто и до того должно было дойти, что «оскудѣніе» ощущается уже не въ области литературнаго вымысла, но даже въ самой жизни, изобрѣтательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдругъ притупѣла и вмѣсто того, чтобы постыждать насъ блѣдностію нашихъ измышлений передъ живостію истинныхъ событій, она нисходитъ до того, чтобы разыгрывать на своихъ клавишахъ несовершенные наброски нашей композиціи... Но, однако, къ счастью, еще не утрачено право думать, что это не такъ, — что дѣйствительная жизнь нашихъ литературныхъ фантазій не разыгрываетъ, а совпаденіе, какое случилось въ Италіи послѣ моего разсказа, придумано, быть-можетъ, знакомымъ съ русскимъ языкомъ нѣмецкимъ корреспондентомъ.

И мнѣ сталъ припоминаться цѣлый рой болѣе или менѣе замѣчательныхъ исторій и исторіекъ, которыя издавна живутъ въ той или другой изъ русскихъ мѣстностей и постоянно передаются изъ устъ въ уста, отъ одного человека другому. Большинство изъ нихъ пользуется репутаціей самыхъ достовѣрныхъ событій и сообщается съ указаніемъ собственныхъ именъ, мѣста и времени событій. Разказы эти ведутся такъ, что усомниться въ справедливости ихъ часто значило бы оскорбить не одного разсказчика, но всю мѣстную публику, раздѣляющую его вѣрованія, а между тѣмъ вѣрить въ дѣйствительность упоминаемыхъ событій очень трудно и иногда даже совсѣмъ невозможно.

Между тѣмъ всѣ подобныя исторіи должны быть дороги

литературѣ и достойны сохраненія ихъ въ ея записяхъ. Эти исторіи, какъ бы кто о нихъ ни думалъ,—есть современное продолженіе народнаго творчества, къ которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. Въ устныхъ преданіяхъ или даже въ сочиненіяхъ этого рода (допустимъ, что есть чистѣйшія сочиненія) всегда сильно и ярко обозначается настроеніе умовъ, вкусовъ и фантазій людей даннаго времени и данной мѣстности. А что это дѣйствительно такъ, въ томъ меня достаточно убѣждаютъ записи, сдѣланныя мною во время моихъ скитаній по разнымъ мѣстамъ моего отечества. Такъ, напримѣръ, въ преданіяхъ (или, пожалуй, въ вымыслахъ) малороссійскихъ всегда преобладаетъ характеръ *героическій*, напоминающій средство здѣшней фантазій съ вымыслами польскихъ сочинителей апокрифовъ о «панѣ Коханку», а въ исторіяхъ великорусскихъ и особенно столичныхъ, петербургскихъ — больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовскаго пошиба. Очевидно, фантазія людей данной мѣстности выражаетъ ихъ настроеніе и, такъ сказать, создаетъ сама себѣ *своихъ козырей* для своей игры. Но замѣчательно, что всѣ эти козыри, какъ герои, такъ и плуты,—всѣ въ своемъ родѣ выходятъ какъ будто въ свою очередь тоже и «*психопаты*».

Я очень цѣню такія исторіи, даже и тогда, когда историческая достовѣрность ихъ не представляется надежною, а иногда и совсѣмъ кажется сомнительною. По моему мнѣнію, какъ вымыселъ или какъ сплетеніе вымысла съ дѣйствительностью — онѣ даже любопытнѣе. Я передамъ здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ не только затѣмъ, чтобы сохранить эти памятники общественнаго творчества, но и для того, чтобы вызвать нѣкоторымъ изъ нихъ этимъ путемъ провѣрку. Быть-можетъ, то, что мнѣ кажется невѣроятнымъ, или сочиненнымъ, или заимствованнымъ изъ какихъ-то постороннихъ источниковъ,—происходило и на самомъ дѣлѣ, но только переначено и преувеличено. Кто-нибудь изъ мѣстныхъ людей можетъ отозваться къ моимъ записямъ и поправить ихъ свѣдущими сообщеніями и тогда предъ нами предстанетъ рядъ житейскихъ курьезовъ, которые до сихъ поръ не переходятъ за границу своихъ мѣстностей.

Я начну съ *героическаго*, — съ рассказовъ малороссійскихъ, въ которыхъ болѣе грандіознаго, наивнаго и, какъ

миѣ кажется, преувеличеннаго, но во всякомъ случаѣ весьма своеобразнаго.

Эпопея о Вишневскомъ и его сродникахъ.

Вотъ самъ помѣщикъ благодатный,
Изъ непосредственныхъ натуръ.

И. Тургеневъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ переяславскомъ уѣздѣ, полтавской губерніи, былъ помѣщикъ Иванъ Гавриловичъ Вишневскій. Онъ получилъ отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны большое имѣніе по обоимъ берегамъ рѣки Супоя (рѣки Удай и Супой отмѣчены въ одной географіи «неспособными къ судоходству по множеству пороковъ»). Имѣніе это состояло изъ двухъ большихъ деревень, изъ которыхъ одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый панъ Иванъ Вишневскій жилъ и умеръ въ этомъ имѣніи, а послѣ его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставилъ по себѣ героическую извѣстность,—можетъ быть, сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусѣ мѣстной фантазіи.

Степанъ Ивановичъ былъ атлетъ и богатырь, а притомъ также хлѣбосоль, самодуръ и преужасный развратникъ, но имѣлъ образованіе. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ императрица Екатерина посылала въ Англію «для просвѣщенія ума и сердца».

По возвращеніи изъ Англіи онъ поступилъ на службу въ конно-гвардейскій полкъ, но какъ только дослужился до чина поручика—вышелъ въ отставку, женился на тверской дворянкѣ, дѣвицѣ Степанидѣ Васильевнѣ изъ рода Шубинскихъ, и поселился въ Москвѣ въ собственномъ домѣ.

Дѣлать Вишневскому здѣсь было нечего, и онъ началъ «чудить».

Прежде всего онъ надумалъ импонировать москвичамъ своей хохлацкой «нацией». Онъ не хотѣлъ никого знать,—одѣвался по-хохлацки, много пилъ «запридыху» и ѣлъ будто одно только медвѣжье мясо.

Императрицѣ доложили, что Вишневскій «не соблюдаетъ

свѣтскихъ приличій», и тогда самодуру было сдѣлано замѣчаніе. Онъ рѣшился исправиться и съ этою цѣлью вытребовалъ себѣ изъ Малороссіи въ Москву хохлацкую телѣгу съ парюю воловъ и паробка, который умѣлъ этими волами править. А какъ только наступилъ день обычныхъ и для всѣхъ видныхъ лицъ въ столицѣ обязательныхъ визитовъ, Степанъ Ивановичъ собрался «обѣзжать всѣхъ именитыхъ людей съ визитами». Но выѣхалъ онъ не на легкѣ, въ одномъ экипажѣ, а съ цѣлымъ поѣздомъ. Впереди скакалъ жокей на кургузой англійской кобылѣ, за нимъ слѣдовала цугомъ запряженная прекрасная карета, въ которой сидѣлъ камердинеръ, а за каретою ѣхала телѣга, или хохлацкій «возъ», заложенный парюю свыхъ, круторогихъ воловъ, и на этомъ возу помѣщался панъ Степанъ. Онъ сидѣлъ, какъ обыкновенно садятся малороссійскіе крестьяне, — т. е. по срединѣ телѣги, на кучкѣ раскинутой ржаной соломы, и курилъ съ флегматическимъ спокойствіемъ коренковую трубку излюбленнаго хохлацкаго фасона. Волами правилъ хохоль въ затранныхъ шароварахъ «шире облака», въ дегтярной рубахѣ съ прямымъ воротомъ, въ «тяжкихъ чоботахъ» и въ высокой смушковой шапкѣ. Хохоль шелъ около воловъ съ батогомъ и придерживалъ ихъ за ременный налыгачъ, «щобъ ни злякались якъ торохтыть городъ», а самъ покрикивалъ гдѣ надо: «цо-бе», а гдѣ надо: «щобъ».

Жокей имѣлъ списокъ особъ, которыхъ долженъ былъ посѣтить этотъ задичавшій европеецъ. Справляясь съ спискомъ, жокей скакалъ впередъ и, прискакавъ на дворъ стояннаго въ списокѣ вельможнаго лица, возвѣщалъ:

— Мій панъ іде!

А когда поѣздъ показывался, жокей оборачивался къ нему лицомъ и опять въ голосъ кричалъ:

— Ось самъ панъ Вишневеcki приїхавъ!

Тогда карета останавливалась у крыльца, изъ нея вылѣзала камердинеръ Степана Ивановича и шелъ спрашивать, угодно ли хозяевамъ принять его господина?

Если Вишневеcкаго принимали, — тогда карета отъѣзжала далѣе, а къ крыльцу подѣзжалъ «возъ» на парѣ воловъ, и Степанъ Ивановичъ входилъ въ покои и щедро одарялъ всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. Въ апартаментахъ онъ велъ себя баринотъ и европейцемъ,

щеголя прекрасными манерами, отличнымъ знаніемъ языковъ и острою ѣдкостью малороссійскаго ума.

«Во бувъ собі шутковатій, и знавъ усе по-хрянцузьски и по-вложски и на усі языки умівъ хвалить Госнода. Але тьлько до того бувъ лїнивий».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ъль Вишневскій, какъ выше сказано, будто бы только одну медвѣжатину и для того содержалъ въ одномъ изъ тверскихъ имѣній жепы «медвѣжіи штомникъ». Медвѣдей тамъ кормили и доставляли въ Москву, къ столу Степана Ивановича. Къ полиціи Вишневскій имѣлъ врожденную и ненобѣдную ненависть, и ни одинъ полицейскій не смѣлъ отважиться войти къ нему во дворъ, не рискуя потерпѣться всяческихъ обидъ, если только попадется на глаза Степану Ивановичу. Домъ Вишневскаго въ Москвѣ для полиціи былъ недоступенъ и, по тому ли, или по другому, скоро получилъ себѣ весьма таинственную и нѣсколько нелестную извѣстность. Волѣе всего ей помогали безнравственныя инстинкты Вишневскаго по отношенію къ женщинамъ, или, пожалуй, точиѣе сказать, къ дѣтямъ женскаго пола. Полиція, въ свою очередь, ненавидѣла Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отменить за его невѣжества, но долго никакого удобнаго къ тому основанія не находила. Наконецъ, однако, къ тому представился случай: одинъ разъ дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсѣмъ еще лишенную мускульныхъ связей пясть, которая была признана стопою небольшой человѣческой ноги. Черезъ нѣсколько дней это еще разъ повторилось. За собакою подсмотрѣли и увидали, что она таскаетъ эти кости изъ мусорной ямы. Прислуга сосѣднихъ домовъ стала говорить, что Вишневскій производитъ безчинства надъ своими крѣпостными дѣвочками и потомъ, будто бы, ихъ убиваетъ. Скоро стали производить счетъ дѣвочкамъ, будто бы безвѣстно пропавшимъ, и даже называли ихъ по именамъ.

Полиція не только усмотрѣла въ этомъ достаточный поводъ вмѣшаться въ дѣло, но даже сочла это своею прямою обязанностью,—что и въ самомъ дѣлѣ такъ было. Съ этою цѣлью на дворъ Степана Ивановича явился приставъ и квартальный и приступили къ осмотру той ямы, откуда

собака таскала подозрительныя кости. Вѣрные слуги Степана Ивановича не дозволили полиціи приступить къ осмотру, не извѣстивъ своего «пана». Степанъ Ивановичъ надѣлъ архалукъ, самъ вышелъ къ полицейскимъ и велѣлъ имъ открыть яму. Тамъ, къ радости полицейскихъ, нашли множество такихъ точно костей, какія послужили поводомъ къ подозрѣнію, но тутъ же было доказано, что это отнюдь не ступни человѣческихъ ногъ, а лапы убитыхъ для стола Вишневекаго молодыхъ медвѣжатъ.

Полицейскіе сконфузились и начали извиняться передъ Степаномъ Ивановичемъ, говоря, что они были вовлечены въ ошибку сомнѣніями и ложными слухами.

Вишневскій ихъ извинилъ и... тутъ же отстегалъ кнутомъ.

Эта острая выходка имѣла для него послѣдствіемъ то, что ему велѣно было оставить Москву и жить въ малороссійскихъ деревняхъ, пожалованныхъ его отцу Ивану Гавриловичу отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневскій долженъ былъ подчиниться сказанному требованію и переѣхалъ въ переяславскій уѣздъ въ Фарбованую, чтобы колобродить тамъ еще на болѣеи свободѣ.

Случай съ медвѣжьими лапами приписывается московскими розсказнями нѣсколькимъ лицамъ, и Степану Ивановичу Вишневскому онъ усвоится только одними малороссійскими преданіями, сложившимися преимущественно по равнинамъ, орошаемымъ рѣками Удаемъ и Супоемъ. Что же касается визитовъ по Москвѣ на парѣ воловъ, то въ этомъ родѣ какъ будто что-то было, но въ московскихъ преданіяхъ объ этомъ мнѣ никогда не удалось услышать о такой оригинальной выходкѣ ни малѣйшаго воспоминанія. На этомъ основаніи разсказъ этотъ, кажется, должно считать сомнительнымъ; но между обитателями равнинъ Удаи и Супоя много охотниковъ крѣпко стоять за справедливость этой исторіи, и на всѣ доводы о томъ, что это ничѣмъ не подтверждается въ Москвѣ, они съ самоувѣреннымъ презрительствомъ оттопыриваютъ свои толстыя казацкія губы и говорятъ:

— Отъ тоже, — захотѣлы вы на Москвѣ правду шукать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Когда Степанъ Ивановичъ Вишневскій поселился въ своихъ малороссійскихъ маестностяхъ, то онъ себѣ построилъ

дома въ обѣихъ деревняхъ, по обѣ стороны достославнаго Суоя, — въ Фарбованой и Сосновкѣ. При обѣихъ домахъ, отремонтированныхъ на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выѣзды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочемъ, Степанъ Ивановичъ не довольствовался и пользовался еще широко своими правами надирнаха на всѣхъ женщинъ своего подданства. Жилъ онъ попеременно то въ одномъ своемъ имѣнии, то въ другомъ, и вездѣ содержалъ разъ установленные имъ своевольные порядки. Онъ считалъ себя въ полнѣйшемъ правѣ приводить всѣхъ, какъ онъ выражался, «въ свою крещеную вѣру» — и свободно и безпретенциозно достигалъ всего, чего желалъ достичь.

Между всѣми прихотями его своеправія и здѣсь прежде всего обозначалась ничѣмъ неусмиримая ненависть Вишневскаго къ полиціи. Какъ только онъ пріѣхалъ въ деревню, такъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе, чтобы ни исправникъ, ни пристава и никто изъ чиновниковъ не смѣлъ ѣздить по его владѣніямъ съ колокольчиками. Крестьянамъ было приказано, чтобы они останавливали каждаго, кто ѣдетъ съ колокольчикомъ, и освѣдомились — кто онъ такой. Если проѣзжающій былъ дворянинъ или вообще частное лицо, то его было велѣно отпускать и при этомъ говорить, что земли, по которымъ онъ ѣдетъ, принадлежатъ пану Вишневскому, и что этотъ панъ «любитъ и шануетъ» честныхъ гостей, — для чего проѣзжающихъ и приглашалъ «до господы», чтобы «отпочить съ дороги», то-есть отдохнуть отъ путевыхъ трудовъ и «откушать панскаго хлѣбосоли». Если проѣзжающій торопился и не хотѣлъ заѣзжать «на гостиницы», а учтиво благодарилъ, то его насильно не задерживали, а такъ же «учтиво» позволяли слѣдовать далѣе и не возбраняли звонить колокольцемъ. А если проѣзжій не сибѣшилъ и изъявлялъ согласіе заѣхать къ пану, то его провожали въ Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, въ которой изъ этихъ деревень жилъ въ то время панъ Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ встрѣчалъ всѣхъ такихъ гостей радунно, не разбирая ихъ чиновъ и званій, и угощалъ ихъ по-тогдашнему роскошно и обильно, — иногда даже слишкомъ обильно, такъ что иные отъ его хлѣбосолиества даже занемогали. Но приневоливанія ни въ пищѣ, ни въ питіи

не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогал до излишества, то въ этомъ вины и насилія со стороны Вишневекаго не было, а всякій неосторожный гость долженъ былъ пенять на самого себя, безропотно казнилъ за свою неумѣренность.

Многимъ изъ гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степанъ Ивановичъ даже оказывалъ значительное пособіе, а офицерамъ всегда любилъ дарить что-нибудь цѣнное на память. И такой широкій обычай былъ причиною того, что его ласка и хлѣбосольство дѣлали его очень милымъ и любезнымъ. Но чуть только дѣло касалось чиновниковъ и особенно полиціи, — Степанъ Ивановичъ являлся по отношенію къ нимъ самымъ грубымъ тираномъ, и требованія, какія онъ простиралъ къ этимъ несчастнымъ лицамъ, были въ такой степени суровы и для нихъ унижительно, что даже трудно вѣрить — какъ они могли имъ подчиниться и не находили средства оградить себя отъ фарбованскаго причудника.

Какъ только исправникъ или приставъ подъѣзжали къ граничной межѣ владѣній Вишневекаго, они должны были остановиться и подвязать язычокъ колокольчика, чтобы онъ по звонилъ. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчикъ и немедленно отнести его въ господскій домъ къ самому папу. Сопротивленіе со стороны полиціанта угрожало ему двойною опасностью — быть побитымъ отъ крестьянъ, которые могли производить это въ «панскую голову», т. е. на отвѣтственность самого помѣщика, а потомъ виновнаго отвели бы къ «пану», у котораго всякаго полицейскаго, по меньшей мѣрѣ, ожидалъ невѣроятно унижительный, но съ неупустительною строгостью соблюдавшійся особый церемоніаль.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейскій чиновникъ былъ у Степана Ивановича «въ одномъ расчисленіи». Въ честность ихъ онъ, впрочемъ, нимало не вѣрилъ и, кажется, на этотъ счетъ не очень сильно ошибался. Правилomъ его было то, что *никакой* чиновникъ ни для какой надобности и ни подъ какимъ предлогомъ не могъ переступить черезъ порогъ его дома. Если исправникъ или приставъ имѣли къ нему служебную надобность или вынуждены были явиться къ нему съ какою-либо претензіею или просьбою, то они знали, что должны ѣхать по

сго владѣніямъ «безъ звопа», какъ можно тише и останавливаться у околицы, — отнюдь не смѣя вѣзжать на лошадахъ въ его усадьбу. По усадьбѣ и по двору они обязаны были идти гнѣнкомъ и, снявъ шапку у воротъ, проходить мимо оконъ дома не иначе, какъ съ открытою головою.

Иначе, при малѣйшемъ нарушеніи этого правила, надрессированная прислуга сейчасъ же взяла бы ихъ подъ локти и заворотила назадъ, «наклавъ имъ при семь добре по потылицѣ». А такъ какъ это соблюдалось крѣпко и вѣрно, то никто и не смѣлъ думать ослушаться и сопротивляться. На этомъ, однако, униженія еще не кончались: чиновникъ не допускался далѣе крыльца, подъ которымъ жили огромныя медвежьи собаки. Здѣсь чиновникъ долженъ былъ стоять и ожидать, пока Степанъ Ивановичъ выплетъ къ нему «комнатнаго казака», то-есть, просто говори, лакея. Съ лакеемъ чиновникъ долженъ былъ «поздороваться вровнихъ», то-есть подать лакею руку, и затѣмъ только могъ изложить тому же лакею цѣль своего прѣзда къ пану.

Если Вишневекому казалось, что надобность, за которою прѣхалъ чиновникъ, не стоить вниманія, то онъ приказывалъ «прогнать его вошь». А если надобность была какаинибудь дворянская или объявленіе ему чего-либо изъ высшихъ сферъ, то Степанъ Ивановичъ надѣвалъ на себя бекешъ, шапку, самъ выходилъ на крыльцо и выслушивалъ чиновника, стоя къ нему все время бокомъ и никогда не глядя ему въ лицо.

Затѣмъ Вишневекій молча уходилъ, а лакей подавалъ чиновнику на тарелкѣ рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацію. Чиновникъ долженъ былъ выпить водку и потомъ взять себѣ на «закуску» пятьдесятъ рублей (хлѣбосоли въ ихъ натуральномъ видѣ чиновникамъ въ домѣ Вишневекаго не предлагали). Если же чиновникъ, паче чаянія, какъ-нибудь высоко о себѣ мнилъ и не сталъ бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то онъ не могъ получить и денегъ, положенныхъ на закуску. Въ такомъ случаѣ лакей долженъ былъ *столкнуть* его съ крыльца и водку выплеснуть ему въ спину, а закусовые пятьдесятъ рублей взять себѣ въ свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла къ желѣзной клемкѣ

еть двери, за которою сидѣли подъ крыльцомъ меделянскіи собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самомалѣйшее сопротивленіе установленіямъ Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда имъ встрѣчалась надобность появиться на крыльцѣ фарбованскаго пана.

Если все это несомнѣнно такъ, какъ гласятъ преданія, то 50 рублей на закуску, очевидно, имѣли тогда свою высокую цѣну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ отношеніи цѣломудрія и нравственности вообще Степанъ Ивановичъ слылъ человѣкомъ безцеремоннымъ и притомъ самымъ наивнымъ. Впрочемъ, въ этихъ отношеніяхъ онъ имѣлъ себѣ очень много подобныхъ и равныхъ, но въ его героической эпопеѣ въ этого рода дѣлахъ чрезвычайно оригинально представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основаніе называть психопаткою,— хотя, впрочемъ, въ иномъ родѣ.

Она была, какъ выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня изъ очень хорошаго рода. Супруга своего она любила и жила съ нимъ всегда въ постоянномъ согласіи. Отъ союза ея съ Степаномъ Ивановичемъ у нея были двѣ дочери, изъ которыхъ рожденіе второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сдѣлалась «навѣкъ не человѣкъ». Степанъ Ивановичъ сталъ съ нею сепаратничать: если она жила въ Фарбованой, онъ уѣзжалъ въ Сосновку, а если она была въ Сосновкѣ, то онъ сѣзжалъ въ Фарбованую. Видя это и, какъ говорила Степанида Васильевна, «любя своего мужа», она стала прилагать всякія заботы, чтобы онъ «отъ нея не удалялся» и чтобы ему и при ней «жить было не скучно». Съ этою цѣлью она устранивала у себя дѣвичьи посидѣлки, на которыя дѣвушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна ихъ обласкивала и угощала до тѣхъ поръ, пока тѣ освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его къ себѣ «прибыть, на дѣвицъ полюбоваться». А онъ ей отвѣчалъ: «очень тебя благодарю и заботы твои обо мнѣ цѣню, а, впрочемъ,

въ главномъ выборѣ я на твой вкусъ больше, чѣмъ на свой собственный, полагаюсь».

Такой отвѣтъ мужа не только радовалъ, но и умилялъ Степаниду Васильевну. Чувства ея къ Степану Ивановичу горѣли сугубымъ пламенемъ, и она ему въ скорости же опять нетерпѣливо отписывала: «за довѣріе твое, безцѣнный другъ мой, весьма тебя благодарю, и въ разсужденіи моего вкуса, въ чемъ на меня полагаешься, отъ души тебѣ угодить надѣюсь, но только прошу тебя, ангель моей души,—пріѣзжай ко мнѣ сколь возможно скорѣе, потому что сердце мое по тебѣ стосковалось, и ты увидишь, что я не объ одной себѣ сокрушаюсь, но и твой вкусъ понимаю. Дѣти наши объ здоровы и тебѣ кланяются и цѣлуютъ ручки». Подпись: «твоя вѣрная жена и раба Степанида».

Степанъ Ивановичъ, получивъ такое посланіе, оставлялъ отдѣльное житіе и пріѣзжалъ къ супругѣ, которая вполнѣ достигала того, что ему «жить въ одномъ домѣ съ нею становилось нескучно».

Она не только ласкала и гѣжила ея же избранныхъ для своего мужа фаворитокъ, но нянчила и выхаживала его дѣтей, которыхъ при такомъ патриархальномъ порядкѣ палатской жизни въ Фарбованой народилось очень много.

Самъ Вишнеvesкій далеко не былъ такъ чистосердеченъ и искрененъ, какъ его жена: когда растлѣнный нравъ Степана Ивановича начиналъ прискучать тою особою, которая была призвана къ обязанности «дѣлать его жизнь пескучною», Вишнеvesкій начиналъ собираться «пожить одинъ въ другой деревнѣ».

Степанида Васильевна это тотчасъ же понимала и хотя не перечила мужу, такъ какъ миръ и согласіе супружеское она, по завѣту предковъ, ставила выше всего на свѣтѣ, но черезъ нѣкоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, гдѣ говорила: «Хитрости твои и твоя со мною въ важныхъ дѣлахъ неоткровенность очень меня, мой другъ, огорчаютъ и терзаютъ, потому что я ихъ ничѣмъ не заслужила. Богъ видитъ мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свѣтѣ, и отъ разлуки съ тобой сердце мое по тебѣ иссушается какъ трава, но горячая слеза текущая не высыхаетъ. А ту особу, которая беззащитностью своею

тебя утомила и прискучила, я своимъ раченіемъ безъ большихъ хлопотъ совершенно устроила, и всѣ онѣ нынче своимъ положеніемъ теперь вполне довольны и благодарятъ. А ты бы если поспѣшилъ ко мнѣ, то могъ бы теперь полюбоваться на очень пріятныя лица. Дѣти же наши объ благостію Божією хранимы,—живы и здоровы и объ отцѣ своемъ молятся». И опять та же подпись: «жена и раба».

Въ отвѣтъ на это отъ Вишневецкаго слѣдовали комплименты жепѣ, съ повтореніемъ полного довѣрія къ ея вкусу, и затѣмъ Степанъ Ивановичъ вскорѣ возвращался подъ семейный кровъ. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, ласки и восклицанія, и телець упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сдѣлать его счастливымъ, какъ онъ желалъ и какъ это могла устроить его вѣчная, пренебрежная жена, которая имѣла несчастіе изъ живой и очень милой женщины стать «навѣкъ не человѣкъ».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Послѣ описанныхъ уже перипетій Степанъ Ивановичъ исправился въ отношеніи своей скрытности и недовѣрія и никогда не прибѣгалъ болѣе къ хитростямъ сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словамъ крестьянъ, «доглядала его якъ маты свою дытыну».

Невѣроятная, примитивная простота этихъ отношеній, напоминающая собою библейскій разсказъ о Саррѣ и объ Агари, становится еще невѣроятнѣе, если дать вѣру частностямъ, которыя разсказываютъ о житіи этихъ супруговъ.

Степанъ Ивановичъ былъ какой-то чистый турокъ. По отношенію къ своимъ многообразнымъ привязанностямъ онъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ роды любви, отъ мимоходныхъ неосторожностей до привязанностей къ одалискамъ и къ первой султаншѣ. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежало счету; а роль первой султанши, разумеется, занимала его законная жена, которую онъ, съ своей стороны, тоже, пожалуй, по-своему любилъ и, во всякомъ случаѣ, увѣрялъ, будто очень ее «уважаетъ».

— Если кто сдѣлаетъ что-нибудь противъ меня,—гово-

рилъ онъ:—то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслилъ вслухъ сдѣлать что-нибудь къ обидѣ Степаниды Васильевны, то кто бы онъ ни былъ, я вездѣ его достану, и самъ царь Иванъ Васильевичъ не выдумалъ такой казни, какою я расказию грубияна безцѣнной жены моей.

Всѣ это знали и знали тоже, что Степанъ Ивановичъ не шутить и что говорить, то и выполнить, и потому никому и въ голову не приходило обнаружить хоть малѣйшій признакъ неповиновенія или ослушанія Степанидѣ Васильевнѣ. Но не всѣ одинаково разумѣли такую ревнивую заботу Вишневекаго о женѣ, и между тѣмъ, какъ одинъ приписывалъ ее безмѣрной его къ ней нѣжности,—другіе усматривали въ этомъ хитрость, которая и въ самомъ дѣлѣ была въ значительной мѣрѣ доступна хохлацкой натурѣ Вишневекаго. Думали, что онъ «нагонялъ страхъ» всѣмъ за жену болѣе для того, чтобы ея требованія, къ услажденію его жизни любовью крѣпостныхъ одалисокъ, не встрѣчали ни малѣйшаго противорѣчія, такъ какъ всякое самонамѣненное ослушаніе ей онъ наказалъ бы такъ, что царь Иванъ Васильевичъ во гробѣ бы содрогнулся.

Впрочемъ, было это такъ или иначе, съ положительностію сказать невозможно, но есть положительные разказы, что крайне развращенный и до жестокости безцеремонный въ своихъ мимоходныхъ дѣлахъ, Степанъ Ивановичъ любилъ вносить своеобразную поэзію въ свои отношенія съ одалисками, избранными для него на вкусъ его первой султанши. И онъ умѣлъ достигать этого безъ всякаго принужденія своей природы, въ которой обнаруживалось въ этихъ случаяхъ нѣчто нѣжное и чувствительное. Онъ, подобно Донъ-Жуану, могъ похвалиться, что не только не оскорблялъ молодыя существа грубостію, но даже «никогда не обольщалъ съ холодностью безстрастной». Нѣтъ, онъ пріѣзжалъ въ домъ жены, гдѣ ея любовь приготовила ему утѣху, съ нѣжною ласковостію, и оба супруга вмѣстѣ выносили избранницу «какъ соколку по зорькамъ». Они ее приласкивали, наряжали, лелѣяли, она жила въ комнатахъ Степаниды Васильевны, нестро разводѣтал, утопая въ нѣгѣ и насыщаясь лакомствами, и сама не замѣчала, какъ переходила изъ одной роли въ другую, словно въ туманѣ долго не сознавая того, что съ нею случилось и чѣмъ это должно

было окончиться. Всѣ эти одалиски вступали въ свою роль въ лѣтахъ едва окончившагося дѣтства, когда еще голова бѣдна опытомъ и представленія о грядущемъ слабы, а жизнь, полная утѣхъ въ настоящемъ, заманчива. Изъ нихъ многіи искренно располагались душою и сердцемъ къ своему повелителю или по крайней мѣрѣ не тяготились имъ, а Степаниду Васильевну даже любили «якъ маты». И она ихъ дѣйствительно ласкала какъ мать и ободряла какъ старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тѣмъ счастьемъ, какое младшія одалиски доставляли ей любимому падишаху. Въ домѣ жена, мужъ и дежурная фаворитка почти не разлучались и бѣльшую частію проводили время втроемъ, но къ нѣкоторымъ изъ одалисокъ Степанъ Ивановичъ пристращался до того, что не могъ съ ними разставаться даже и на одну минуту. Вишневскій пристращался къ возлюбленной не только чувственно, но и любовно, какъ пылкій юноша, и, покидая домъ въ случаяхъ неизбежныхъ, бралъ ее съ собою, пересѣдую казачкомъ или арапчикомъ, на попеченіи котораго будто состояли янтари его роскошныхъ чубуковъ и кисеть съ табакомъ, который надобился ему безпрестанно, такъ какъ Степанъ Ивановичъ курилъ даже ночью, и потому «трубочный мальчикъ» былъ при немъ безотлучно.

Полагали, что въ подобныхъ случаяхъ Степаномъ Ивановичемъ до извѣстной степени руководила ревность, но это предположеніе не имѣетъ основанія, такъ какъ Вишневскій, конечно, ничѣмъ не рисковалъ бы, если бы оставилъ дѣвушку на попеченіе Степаниды Васильевны: и потому гораздо вѣрнѣе думать такъ, какъ передавали люди, ближе знавшіе этого малороссійскаго психоната, — то-есть, что онъ просто страстно влюблялся въ своихъ фаворитокъ и не могъ съ ними разставаться до тѣхъ поръ, пока страсть его совершала свое теченіе и остывала.

И чѣмъ страстнѣе была привязанность къ извѣстной одалискѣ со стороны Степана Ивановича, тѣмъ бѣльшую нѣжность и заботу это лицо вызывало къ себѣ со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневскаго, и онъ «отѣзжалъ за Суной», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утѣху» и приготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованскаго пана съ того берега.

Трагическаго въ этихъ развязкахъ никогда не было. Благодаря такту, сердоболію и щедрости Степаниды Васильевны, всё эти дѣла устраивались мирно и ладно, го всеобщему удовольствію всѣхъ мало-мальски близкихъ къ дѣвушкамъ лицъ. Исключеніе составлялъ едипственный случай съ пятнадцатилѣтнею крестьянскою дѣвочкою, занявшею особенно сильное положеніе въ сердцѣ Вишневскаго и оставившею ему сына и непріятный слѣдъ въ его воспоминаніяхъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Мѣстныя преданія сохранили самое имя этой стройной, «якъ былинка», черноокой дѣвушки, приблизившейся къ своему пану въ довольно уже поздніе годы его жизни. Ее называютъ Гапка Петруненько. Она была такъ хороша, «що ажъ очамъ мило було на нее дивитися», и, какъ показываетъ ея исторія, имѣла сердце чуткое и очень воспріимчивую душу. Вишневскій могъ обнять ея тонкій станъ, ея талію перстами своихъ рукъ, и такъ любилъ ее, какъ никакую другую, ни до нея, ни послѣ ея пользовавшіюся его фаворомъ. Онъ одѣвалъ ее въ розовый атласъ и въ кофты, сшитыя изъ дорогихъ турецкихъ шалей, носилъ ее на рукахъ и цѣловалъ ея ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа къ этой дѣвушкѣ, Степанида Васильевна тоже пѣствовала ее до забвенія о себѣ и о своихъ дочеряхъ, изъ которыхъ старшей тогда уже шель двѣнадцатый годъ. Степанида Васильевна сама плела на день черныя косы Гапочки, сама ихъ расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучій дымъ которыхъ проникалъ густые волосы и держался въ нихъ съ смолистою силою. Она не позволяла ничьимъ пизкимъ рукамъ коснуться до ея тѣла и даже сама орошала крѣпкимъ настоемъ душистыхъ розъ ея ноги, къ которымъ на ея же глазахъ въ страстномъ самозабвеніи припадалъ устами Степанъ Ивановичъ. Словомъ, эта прелестная дѣвушка была фавориткой изъ фаворитокъ, и пребываніе ея въ домѣ Вишневскихъ заключало въ себѣ много отъ всѣхъ отчужденнаго. Степанъ Ивановичъ, даже выѣзжая на охоту съ борзыми, бралъ Гапку съ собою и не довольствовался тѣмъ, что она, одѣтая черкешенкой, ѣдетъ въ копейномъ рыдванѣ, а бралъ ее оттуда и возилъ передъ собою на сѣдлѣ. Когда же дѣ-

вущка уставала отъ неудобнаго и утомительнаго путешествія на лошади и сонъ начиналъ клонить ея голову,— Вишневскій не отдавалъ ее ни на чьи чужія руки, а тотчасъ же прекращалъ полеванье и бережно, на своихъ собственныхъ рукахъ, везъ Галочку домой. И Боже сохрани, чтобы кто-нибудь изъ его свиты завелъ въ это время какой-нибудь шумъ и нарушилъ имъ дѣтскій сонъ возлюбленницы пана!.. Виновный не миновалъ бы сырой ямы и ременныхъ арапниковъ.

Такъ же бережно Вишневскій опускалъ съ рукъ это дитя у крыльца на руки встрѣчавшихъ его людей и самъ сопровождалъ ихъ, когда они переносили Гапку во всякой тишинѣ въ покои Степаниды Васильевны.

Здѣсь ее раздѣвали и укладывали на атласныя подушки широкаго турецкаго дивана, на которомъ съ краю сѣдлись и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую дѣвушку. Когда же наставалъ часъ идти къ покою, Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою стогою по мягкимъ коврамъ перейти въ смежную комнату, гдѣ была ея опочивальня, а Степанъ Ивановичъ въ благодарномъ молчаніи много разъ кряду цѣловалъ руки жены и шепталъ ей:

— Ты мой ангель-хранитель,—я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и раздѣляла счастье мужа съ способностью, быть-можетъ, ей одной только свойственною по своей немовѣрной прихотливости.

Она уходила въ спальню, долго тамъ молилась передъ лампадою и потомъ опять неслышными стопами входила въ смежную комнату, гдѣ розовая Гапка спала, обнявъ крѣпкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишневскаго лежала на коврѣ, съ головою, прислоненною къ дивану, въ ногахъ спящей дѣвушки.

Степанида Васильевна крестила ихъ обоихъ и уходила на свою вдовью кроватку, и сонъ ея былъ тихъ, миренъ и живителенъ... И во всемъ этомъ странномъ и несогласномъ, повидимому, сочетаніи чувствъ и отношеній она не видала ничего для себя унижительнаго, и даже ничего неудобнаго, а, напротивъ, ей казалось, что все идетъ именно такъ, какъ только можетъ идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины къ мужу и огромное несчастіе заключавшееся для нея въ условіяхъ ея здо-

ровья, какъ-то смѣшивались, ея нравственныя понятія никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказанія въ сборѣ отрывочныхъ свѣдѣній изъ нѣсколькихъ устъ, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской какимъ-нибудь болѣе точнымъ опредѣленіемъ. Думаю лишь, что по нынѣшнимъ временамъ это подходило бы къ тому, что называютъ «*психопатіей*». Я передаю только любопытный рассказъ, какъ самъ его слышалъ, и не произношу надъ характерами и правилами героевъ этихъ легендарныхъ сказаній никакой своей критики.

Я думаю, что дѣло главнымъ образомъ теперь не въ критикѣ, отъ которой всѣ именуемые здѣсь лица ушли уже въ царство тѣней, а въ сохраненіи на память потомству удивительной непосредственности ихъ характеровъ и прихотливой, оригинальной ихъ жизни.

Намъ хорошо извѣстны бурныя природы нашихъ великорусскихъ дворянъ, при которыхъ, по выраженію поэта, жизнь «текла среди пировъ, безмысленнаго чванства, разврата мелкаго и мелкаго тиранства,—гдѣ хоръ подавленныхъ и трепетныхъ людей завидовалъ житію собакъ и лошадей». Здоровое, реальное направленіе нашей русской литературы, быть-можетъ, порою заслуживающей и укору за излишній реализмъ, показало намъ нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаемъ, каковы наши «ветхіе мѣхи», затрепавшіе при игрѣ влитаго въ нихъ молодого вина; но писатели малороссійскаго происхожденія не слѣдовали нашему, можетъ-быть, единственно полезному въ настоящее время литературному направленію. Жизнь малороссійскаго козырнаго барства отъ насъ скрыта романтизмомъ или крайнимъ протонародничествомъ малорусскихъ писателей. Если она гдѣ-нибудь изрѣдка и представляется, то почти всегда въ напыщенныхъ формахъ, напоминающихъ безконечныя польскія исторіи о «панѣ Коханку». Межъ тѣмъ малороссійское барство имѣетъ свою оригинальность, которая стоитъ изученія и которая въ то же время способна проливать довольно яркій свѣтъ на тѣ особенности малороссійскаго характера, какія, по замѣчанію Шевченко, представляютъ міру «славныхъ прадѣдовъ велькихъ праукоки погани».

Небезполезно посмотрѣть на представителей той средней генерации, которая лежитъ пластомъ между «прадѣ-

дами и прауноками»,— между тѣми, которыхъ національный поэтъ величалъ «великими», и тѣми, которыхъ онъ считалъ за «поганыхъ». Передъ нами теперь фигуры, стоявшія на водораздѣлѣ этихъ двухъ главныхъ теченій, изъ которыхъ одно несло будто на себѣ малороссійскій край къ незапятнанному величію, а другое повлекло его къ неисправимому «поганству».

Въ мірѣ «все причинно, послѣдовательно и условно», и потому въ цѣпи могутъ измѣняться фасы звеньевъ, но тѣмъ не менѣе все-таки звено за звено держится и одно къ другому непременно находится въ соотношеніи.

Собирая въ одну записъ то, что мнѣ приводилось слышать о Вишневскомъ и его сродникахъ, я думаю, что я сберегаю этимъ литературѣ звено чего-то пропущеннаго и до сихъ поръ сохранившагося только въ однихъ преданіяхъ. Пусть они и не совсѣмъ вѣрны, но даже и въ такомъ случаѣ они интересны,—какъ мѣстное народное творчество, указывающее, что поражало и что вдохновляло людей съ фантазіей, или что имъ нравилось.

Продолжаю о Вишневскомъ.

За нѣсколько строкъ предъ симъ мы оставили могучаго фарбованскаго пана спящимъ на коврѣ у ногъ своей сельской нимфы. Оставимъ ихъ и еще въ этомъ положеніи, изящнѣе и поэтичнѣе котораго, кажется, не было въ его своеобразной, безалаберной и ни въѣсть чему подобной жизни. Пусть они, какъ малороссы говорятъ, «отпочнуть» здѣсь сладко до зари того дня, который омрачилъ ихъ счастье и спокойствіе и въ чапу любовныхъ утѣхъ пана выжалъ каплю горькаго омега.

Ниже мы встрѣтимъ случай, при которомъ будетъ мѣсто изложить это происшествіе, составившее высшій, кульминаціонный пунктъ душевныхъ страданій и нравственнаго возбужденія Вишневскаго, — вслѣдъ зачѣмъ опять пошли своимъ чередомъ любовныя смѣны, не захватывавшія выше того, что нами уже описано, но зато не оставлявшія Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнемъ теперь, какъ можемъ и какъ умѣемъ, другія стороны его дѣятельности и характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ отецъ и какъ воспитатель, Вишневскій ни въ

одномъ изъ слышанныхъ мною о немъ разсказовъ не занималъ никакихъ характерныхъ положеній, а упоминается только какъ *родитель*. Впрочемъ, говорятъ, что когда въ Петербургѣ «заводились институты» и именитое дворянство, по желанію государыни, получило приглашеніе привозить туда для воспитанія дѣвиць, то Степанъ Ивановичъ ѣздилъ въ Петербургъ и самъ отвезъ туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить ея родительскую заботливость Вишневецаго, а потому, что эта поѣздка оказалась въ связи съ другимъ любопытнымъ событіемъ, о которомъ ниже будетъ разсказано. Какъ помѣщикъ, въ качествѣ хозяина, судьи и наказателя душъ подвластныхъ ему крѣпостныхъ людей, Вишневскій тоже не представлялъ собою особой оригинальности. Онъ правилъ хозяйствомъ «якъ повелось изъ давняго времени». Все дѣлалось черезъ крѣпостныхъ или наемныхъ приставниковъ, изъ православныхъ и изъ поляковъ. Вишневскій держалъ при себѣ на службѣ нѣсколько человѣкъ поляковъ, къ которымъ не питалъ никакой вражды, но любилъ иногда надъ ними забавляться. Было и нѣсколько евреевъ, которыхъ психовать любилъ пугать разными страхами. Не одного изъ нихъ онъ заморилъ и загналъ страхомъ со свѣта, но они все къ нему лѣзли, потому что Вишневскій иногда бывалъ щедръ и бросалъ имъ что-нибудь на разживу. Впрочемъ, комисіонерскихъ услугъ отъ евреевъ онъ не чуждался. Только Боже спаси было его обмануть... Онъ не столько больно запоретъ розгами или плетью, сколько истерзаетъ страхомъ. У Вишневецаго былъ и патріотизмъ, выразившійся, впрочемъ, *à la longue* пристрастіемъ къ малороссійскому жупану и къ малороссійской рѣчи, а затѣмъ—въ презрѣніи къ иноземцамъ. Особенно онъ не благоволилъ къ нѣмцамъ, которыхъ не находилъ возможности уважать по двумъ причинамъ: во-первыхъ, что они «тонконоги», а во-вторыхъ—вѣра ихъ ему не правилась—«святителей не почитаютъ». Степанъ Ивановичъ думалъ, что самъ онъ «святителей почитаетъ». Въ вопросахъ вѣры онъ былъ невѣжда круглый и ни въ критику, ни въ философію религіозныхъ вопросовъ не пускался, находя, что «се діло поповское», а какъ «лицарь» онъ только ограждалъ и отстаивалъ «свою вѣру» отъ всѣхъ «иновѣрныхъ», и въ этомъ пунктѣ смотрѣлъ на дѣло взглядомъ народнымъ, почитая «христіанами» однихъ

православныхъ, а всѣхъ прочихъ, такъ-называемыхъ «инославныхъ» христіанъ считалъ «недовѣрками», а евреевъ и «всю остальную свелочь» — *поганцами*. Иностранецъ и «даже нѣмецъ» могъ попасть къ столу Степана Ивановича, и одинъ — именно нѣмецъ — даже втерся къ нему въ домъ и пользовался его довѣріемъ, но все-таки, прежде чѣмъ допустить «недовѣрка» къ сближенію, религіозная совѣсть Вишневезкаго искала для себя удовлетворенія и примиренія съ собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанию, «катехизицу не обучався», хорошо сложился и отецъ конкретно оформился имъ самимъ составленный чинокъ для пріятія инославныхъ.

Степанъ Ивановичъ говорилъ «люторю» или «каголыку»

— Ну, а все же вѣдь ты хоть и не по-нашему вѣришь и молишься, но Николу угодника ты навѣрно уважаешь?

Испытуемый «иновѣръ» зналъ по достовѣрнымъ слухамъ, что бы такое съ нимъ произошло, если бы онъ посмѣлъ сказать, что онъ не уважаетъ угодника, за котораго стоитъ фарбованскій панъ... Онъ бы сейчасъ узналъ — крѣпки ли стулья, на которыхъ Степанъ Ивановичъ сажаетъ своихъ гостей, и гибки ли лозы, которыя растутъ, купая свои вѣточки въ водахъ Суной. А потому каждый инославецъ, которому несчастливо случилось расположить къ себѣ Вишневезкаго до того, что онъ уже заговорилъ о вѣрѣ, — отвѣчалъ ему какъ разъ то, что требовалось по чину «пріятія».

— О, да! — отвѣчалъ вопрошаемый инославецъ: — какъ же не уважать Николу, — его весь свѣтъ уважаетъ.

— Ну, чтобы «весь свѣтъ» — это ужъ ты, братъ, немножко хватилъ лишнее, говорилъ Степанъ Ивановичъ: — ибо надлежитъ тебѣ знать, что святая Никола природы московской, а ты поуважай нашего «русьскаго Юрка».

Слово «русскій», въ смыслѣ малороссійскій или южно-русскій, тогда здѣсь рѣзко противопоставлялось «московскому» или великороссійскому, сѣверному. Московское и «русское» — это были два разныхъ понятія, и на небѣ, и на землѣ. Земныя различія всякому были видимы тѣлесными очами, а расчисленія, относимыя къ небесамъ, познавались вѣрою. По вѣрѣ же, великорусскія дѣла подлежали заботамъ чудотворца Николая, какъ покровителя Россіи, а дѣла южно-русскія находили себѣ защиту и опору въ попеченіяхъ особенно расположеннаго къ малороссія-

намъ святого Юрія, или, по нынѣшнему произношенію, св. Георгія (по-народному «Юрко»).

Всякій инославецъ, выдержавъ испытаніе о св. Николаѣ, конечно, еще тверже говорилъ Вишнеvesкому, что онъ уважаетъ святого Юрія «еще больше, якъ Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тѣмъ вся катехизація новопріемлемаго оканчивалась, и воссоединеннаго уже никогда болѣе разновѣріемъ не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словомъ ихъ разницы, то Степанъ Ивановичъ это останавливалъ, говоря:

— Никакой нѣтъ разницы: онъ и Николу уважас, а святого Юрко еще больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такъ исправившіе себя инославцы всходили на самыя перси психопата, а нѣмецъ даже управлялъ почти безотчетно однимъ имѣніемъ и такъ широко пользовался своими полномочіями, что дѣлалъ почти все то самое, что дѣлалъ и Вишнеvesкій.

Степанъ Ивановичъ только въ разсужденіи женщины не позволялъ ему простирать требованій къ себѣ на дворъ, дабы никто не видалъ женщины настоящаго, греческаго закона «входящей къ нѣмцу». Изъ этого для нея могъ произойти срамъ, унижительный даже и для могущаго явиться ребенка. Нѣмецъ обязанъ былъ надѣвать лѣтомъ холодный, а зимою ватный халатъ и картузь, и брать въ руки фонарь и идти самъ на деревню, въ сопровожденіи десятника, который «отвѣчалъ за его жизнь». А нѣмецъ былъ только ограничиваемъ однимъ наказомъ, чтобы отъ него не было никакого размноженія «нѣмецкой прибыли, а все шло въ прибыль русскую».

По деталямъ это казалось только частными ограниченіями, но въ общей сложности всего выходило, что нѣмецъ жаловался Степану Ивановичу, говоря:

— Никакъ нивозможность.

— А почему бы это такъ?

— Все удираетси!..

Это означало, что какъ только нѣмецъ выходилъ въ свой почной походъ въ длинномъ спальномъ халатѣ и съ фонаремъ въ сопровожденіи «отвѣчавшаго за его жизнь», такъ

всѣ его издали видѣли и всѣ, кому угрожало по направле-
нію его посѣщеніе, разбѣгались и прятались.

Степанъ Ивановичъ объ этомъ какъ будто сожалѣлъ, но ни-
чего въ установленномъ имъ порядкѣ отмѣнять не дозволялъ.

— Безъ фонаря и безъ провожатаго тебя пришибутъ и
выпотрошатъ, и отвѣчать за тебя мнѣ будетъ некому,—го-
ворилъ онъ, какъ будто искренно признавая установленный
имъ порядокъ за необходимое; но близко изучившіе его люди
замѣчали, что притомъ, какъ онъ обсуждалъ съ нѣмцемъ
его дѣло,—«одинъ усъ» у Степана Ивановича «смѣялся».

У него, какъ у настоящаго психопата, многое безтолко-
вое соединялось съ хитрымъ и было такъ «пересыпано»,
что «не можно было добрать, що вінъ вередує».

Игривыя штуки его съ нѣмцемъ кончились тѣмъ, что
тотъ все ходилъ, мерцавъ своимъ фонаремъ, какъ иванов-
скій жукъ въ травѣ, пока, наконецъ, въ сѣняхъ одной кре-
стьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвѣчав-
ній за его жизнь, принесъ его домой, гдѣ тотъ и не за-
медлилъ отдать Богу свою нѣмецкую душу, пожившую здѣсь
съ почтеніемъ къ свитателю Николаю и къ св. Георгію.

Но, несмотря на самоподчиненіе этого нѣмца назван-
нымъ святымъ, Степанъ Ивановичъ все-таки нашель, что
его педостойно было хоронить внутри кладбища, «вмѣстѣ
съ родителями правой восточной вѣры», а указалъ зако-
пать его «за оградю» и не крестъ поставить надъ нимъ,
а положить камень, «дабы притомленные люди могли на
немъ присѣсть и отпочить».

Все онъ во всѣхъ случаяхъ держалъ какой-то особливый,
по въ своемъ родѣ очень сообразный тонъ, обличавшій въ
немъ и юморъ, и почтительность къ родной вѣрѣ, утвер-
ждавшейся для него не столько на катехизическомъ ученіи,
какъ на св. Николѣ и на Юркѣ. Но Богу единому вѣдомо,
было ли это такъ, какъ выдавалъ Степанъ Ивановичъ, и
не располагало ли имъ что-либо иное.

Для выраженія полноты религіознаго культа Вишне-
скаго остается прибавить, что почитать или обожать св. Ни-
колая и св. Георгія тоже дозволялось не всякому, а только
однимъ христіанамъ инославныхъ исповѣданій. Тѣ ласкою
и почтеніемъ къ этимъ святымъ откупались отъ бѣдъ и
входили въ милость у Степана Ивановича. Но евреямъ онъ
отнюдь не дозволялъ прибѣгать подъ защиту этихъ свя-

тыхъ, и даже тѣхъ, которые обнаруживали къ этому хоть малѣйшую склонность,—подвергалъ взысканію. Такъ, былъ одинъ еврей, который въ чемъ-то обманулъ Степана Ивановича и былъ за то назначенъ къ поркѣ. Когда его повлекли отъ крыльца, съ котораго Вишневскій изрекалъ свой судъ,—еврей этотъ сталъ упираться и, жалостно кривляясь, кричалъ:

— Ой, кили жъ я шаную... я шаную и Мыколу... шаную и Юрка...

Степанъ Ивановичъ велѣлъ лекторамъ остановиться и переспросилъ трясущагося жидка:

— Что ты такое кричишь?

— Кили я шаную... Кили я шаную...

— Не допочи,—скажи спокойно, кого шануешь?

— Ой же усихъ... ой обоихъ шаную... святого Мыколу и святого Юрка.

— Ну, это ты напрасно...

— Ой, отчего... ой, зачѣмъ напрасно... Кили жъ вони милостивы... можетъ, вони меня помилуютъ.

— Да, они милостивы, — это совершенно правда, но имъ, братку, никакого дѣла нѣтъ за жидовъ заступаться,— у васъ есть свой Моисей, ты его и клань, когда тебя пороть будутъ; а за то, що ты осмѣлился своими жидовскими устами произнести таке свячене имя,—прибавьте ему, хлопци, еще десять плетюгановъ за Мыколу, да двадцать пять за святого Юрка, що бы не дерзаль ихъ трогать.

И несчастнаго еврейчика, конечно, отвели куда надо, и задали ему все, что было назначено за обманъ,—съ прибавкою тридцати пяти ударовъ за неумѣстное, по мнѣнію Вишневскаго, ласкательство къ Николѣ и къ св. Георгію,—причемъ и тутъ тоже честь этихъ двухъ святыхъ не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюгановъ», тогда какъ за св. Юрія двадцать пять.

Разумѣется, это дѣлалось неспроста, а по большому почтенію и любви къ св. Юрію.

— «Бо се, выбачайте,—нашъ, русскій, а не зъ московской стороны».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Упомянувъ не разъ, что Степанъ Ивановичъ отдавалъ видимый преферансъ тому, что исходило «не зъ стороны

московской», и долженъ предупредить читателя, чтобы онъ не пошибилъ счесть Вишневеца политикомъ, сепаратистомъ или, какъ нынче называютъ, «хохломаномъ». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрѣли сквозь пальцы, но даже совѣмъ и знать о немъ не хотѣли; но если бы кто приступилъ къ душѣ Степана Ивановича и «со всякимъ испытаніемъ», то онъ не нашелъ бы тамъ ничего политическаго. Вѣрнѣе всего, онъ почувствовалъ бы себя тамъ какъ въ амбарѣ, гдѣ все навалено и все, почитай, есть, но никто толкомъ ничего не отыщетъ. Вишневскій противорѣчилъ рѣшительно всѣмъ, кромѣ своей первой жены, здѣсь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, изъ рода тверскихъ дворянъ Шубинскихъ. Если собесѣдникъ былъ хохломанъ и хвалилъ все малороссійское, то Вишневскій непремѣнно хотѣлъ выставлять недостатки малороссійскихъ нравовъ, и дѣлалъ это съ талантомъ, доводя свои сравненія до большой мѣткости и ѣдкости. Тогда онъ усердно похвалялъ Польшу, особенно Батура и Собіесскаго, — называлъ «Богдана» великимъ «пьянычкой» и приводилъ споръ къ рѣшительной, по его мнѣнію, формулѣ, что «Польша впала и насъ задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохомъ за Польшу, — и Степанъ Ивановичъ сейчасъ перемѣнялъ валь въ своемъ органѣ и вель рѣчь на великорусскій мотивъ.

— То правда, — говорилъ онъ: — були у нихъ вольности и поважанье, але що зъ того, якъ всѣ хотѣли быть «крулями» да падъ «крулями» каверзували. За те жъ то и згнули, и мусяли сгнцуть, бо не тільмъ занимались, що треба для благоденствія цілаго края, а шарпали ту несчастну свободу усякъ, кто якъ могъ, на свою сторону.

Онъ махалъ рукою и презрительно заключалъ:

— Ледаще, ледаще!

Но Вишневскій не былъ и поборникъ строгаго уваженія къ властямъ, а, напротивъ, какъ выше показано, самъ весьма часто и даже почти при всякомъ случаѣ готовъ былъ унижать и оскорблять органы законной власти. Не былъ онъ и демократомъ, не былъ и народникомъ въ нашемъ нынѣшнемъ понятіи. Напротивъ, самое скромное и, новидимому, безобидное учрежденіе выборной должности городскихъ головъ его смѣшило, и онъ ни за что не хотѣлъ называть ихъ «головами», а называлъ иначе. Словомъ, Виш-

невскій, по короткому, по мѣткому опредѣленію простыхъ людей, былъ «панъ, якъ се належи—якъ зубръ изъ Бѣловѣжи», т. е. онъ былъ «баринъ», какъ слѣдуетъ, все равно, что зубръ изъ Гродненской пуци, который не чета обыкновеннымъ быкамъ, а всѣхъ ихъ отважнѣе и сильнѣе. И какъ панъ, онъ наблюдалъ свое полное достоинство и зналъ толкъ въ этомъ дѣлѣ. Не имѣя настоящаго образованія и не читавъ неизвѣстныхъ еще тогда политическихъ разсужденій, написанныхъ позже такими людьми какъ Токвиль, — онъ вѣрно понималъ космополитическія стремленія настоящаго аристократизма, свойственные также и настоящему демократизму, ибо при обоихъ объединяющимъ стимуломъ является принципъ, отгѣсняющій въ сторону симпатіи національности. Вишневскій недолюбливалъ поляковъ, но чуть рѣчь заходила о какихъ-нибудь именитыхъ людяхъ «московскихъ», — онъ сейчасъ начиналъ строить ироническія гримасы и, улучивъ минуту, когда Степанида Васильевна не была въ комнатѣ, говорилъ:

— Ну, какая тамъ у нихъ именитость!—у всѣхъ у нихъ дѣды и бабки батогами биты.

Съ этой точки зрѣнія, Вишневскій превозвышалъ польскую знать и даже ливонскихъ бароновъ; но если бы съ ними у Россіи зашла война, онъ бы не утерпѣлъ и пошелъ бы ихъ «колотить» со всеусердіемъ, ибо хотя онъ тайнѣ завидовалъ чистотѣ ихъ «родовитой крови», но терпѣть не могъ въ нихъ «собачьей брови», т. е. ихъ высокомерія и надменія, которыя ему были противны, такъ какъ онъ считалъ себя простымъ и прямодушнымъ.

Кто могъ бы разобраться во всемъ этомъ, чтò было наворочено подъ черепомъ у этого психопата? Но возникалъ случайно передъ нимъ какой-нибудь вопросъ или случай необыкновеннаго свойства, — и вся эта психопатическая «бусырь» куда-то исчезала и Степанъ Ивановичъ обнаруживалъ самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатическую находчивость. Онъ дѣйствовалъ смѣло и разсчитанно въ обстоятельствахъ сложныхъ и опасныхъ и шутя выводилъ людей изъ затрудненій и большихъ бѣдъ, которыя угрожали тѣхъ задавить.

Одинъ изъ такихъ случаевъ разсказываютъ объ офицерахъ какаго-то драгунскаго полка, квартировавшаго не то

въ Пирятинѣ (полтавской губерніи), не то въ Бѣжецкѣ (тверской губерніи).

Этотъ занимательный случай одни усвояютъ тверской области, а другіе Малороссіи, и что правѣе—судить трудно, да едва ли и стѣитъ ломать надъ этимъ голову. Случай таковъ, что онъ съ одинаковою вѣроятностію могъ произойти въ любомъ городкѣ, но, судя по характерамъ двухъ упоминаемыхъ здѣсь «панычей», кажется, статочнѣе прилагать это къ правамъ малороссійскаго подьячества.

Намъ, впрочемъ, дѣло не въ точномъ обозначеніи мѣста, а въ самой картинѣ событія и въ томъ участіи, которое принялъ въ немъ нашъ психопатическій герой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Пирятинѣ (примемъ за данное, что это было тамъ) стояли драгуны. Части полка были расположены и въ другихъ мѣстностяхъ. Полковой командиръ квартировалъ, можетъ-быть, въ Переяславѣ.

Разумбется, на стоянкѣ въ крошечномъ городкѣ офицеры скучали отъ бездѣлья и развлекались, развѣзжая въ гости къ помѣщикамъ. Когда же выдавалось нѣсколько дней домо-сѣдства, они кутили, играли въ карты и шли въ погребкѣ при лавкѣ какого-то мѣстнаго торговца виноградными винами. Торговецъ былъ еврей, любилъ обирать офицеровъ и разгулу ихъ потворствовалъ, но самъ ихъ боялся и, — для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбужденіи, — онъ повѣсилъ въ томъ помѣщеніи, гдѣ пировали его гости, портретъ лица, которое, по его понятіямъ, могло напоминать посѣтителемъ его заведенія объ уваженіи къ законамъ благочинія. Можетъ-быть, это было умно, но повело къ исторіи.

Какъ-то, въ самую скучную лѣтнюю пору, въ городъ заѣхалъ жонглеръ и, ходя по городу, давалъ, гдѣ его принимали, свои незамысловатые представленія, изъ коихъ одно пришлось очень по вкусу господамъ офицерамъ: артистъ сажалъ свою дочь на стулъ, плотно подвигая его спинкой къ стѣнѣ, и, доставъ изъ мѣшка нѣсколько кинжаловъ, металъ ихъ въ стѣну такъ, что они втыкались, обрамливая голову дѣвушки со всѣхъ сторонъ, но нигдѣ ее не задѣвая.

Такое твердое и ловкое упражненіе оружіемъ весьма за-

пяло людей, знакомыхъ съ трудностію этихъ смѣлыхъ эволюцій кинжалами, и вотъ офицеры, собравшись однажды тамъ, гдѣ было имъ за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганнаго нанодобіе вывѣтрѣлыхъ остриженныхъ погтей, стали говорить о метаніяхъ кинжала, и когда сдѣлались уже пьяны, то одному изъ нихъ пришло въ голову, что и онъ можетъ продѣлать то же самое.

Кинжаловъ при нихъ не было, но на столѣ находились вилки, которые до извѣстной степени при этомъ опытѣ могли замѣнить кинжалы. Если ихъ и не такъ легко было бросать съ прицѣломъ, то все же таки онѣ втыкались въ стѣну.

Остановка была за человѣческимъ лицомъ, [около котораго можно бы натывать вилокъ. Изъ офицеровъ, разумѣется, ни одинъ не пожелалъ самъ подвергнуть себя такому опыту. Надо было найти личность низшаго разряда, конечно, самое лучшее жиды, — и разгулявшіеся офицеры отнеслись съ предложеніемъ такого рода къ прислуживавшимъ евреямъ, но тѣ, по трусости и жизнелюбію, не только не согласились сдѣлать на такомъ сеансѣ, но даже покинули свои посты при торговлѣ и предоставили всю лавку во власть господъ офицеровъ, а сами разбѣжались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать изъ скрытныхъ мѣстъ за тѣмъ, кто что будетъ брать и, вообще, что станетъ далѣе дѣлать шумливая компанія.

На этотъ грѣхъ случай поднесъ сюда двухъ молодыхъ приказныхъ, по мѣстному выраженію — «судовыхъ панычей», которые въ этотъ день, вѣроятно, стянули съ кого-нибудь «добраго хабара» (т. е. хорошую взятку) и пришли угостить себя въ погребокѣ холоднымъ донскимъ виномъ по-лыннаго привкуса.

Офицерамъ тотчасъ же пришла мысль ириурочить этихъ панычей для своего опыта, — для чего тѣмъ сначала было предложено вмѣстѣ выпить, а потомъ къ нимъ стали приставать, чтобы который-нибудь изъ нихъ посидѣлъ на сеансѣ.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разнаго нрава, — одинъ какъ Гераклитъ, а другой какъ Демокритъ. Придя съ жару въ холодный погребокъ, они какъ выпили холоднаго вина, такъ ихъ и развезло, и потому, когда офицеры стали къ нимъ приставать, они вмѣсто того,

чтобы скорѣе уйти, не трогались съ мѣста. Считая себя на равной ногѣ, какъ аборигены, они начали проявлять свой характеръ. Одинъ на дѣлаемый ему предложеніи смѣялся и отпускалъ раздражавшія офицеровъ малороссійскія шуточки, а другой раскисъ и сталъ плакать. И хотя его уже никто не трогалъ, но онъ все продолжалъ кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до бѣса! дайте мени святого покою!»

Оба эти паньчи такъ надоѣли офицерамъ, что тѣ, наконецъ, поступили съ ними по-свойски, — т. е. похлопали ихъ и подбили подъ столъ и рѣшили держать тамъ, «какъ поросятъ», до тѣхъ поръ, пока окончится пирушка. Это было и удобно, и безопасно, ибо подъ столомъ паньчей офицеры удерживали ногами, имѣя и рты и руки свободными, а между тѣмъ, черезъ обезпеченіе личности паньчей устранялся скандалъ, который казался неизбѣжнымъ при мерзкомъ характерѣ, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Одинъ изъ нихъ непременно бы сталъ на площади или на улицѣ визжать на весь городъ, а другой, чего добраго, могъ бы взлѣзть на заборъ или подойти къ окну и тутъ же черезъ окно дразниться.

Тогда пришлось бы за нимъ бѣгать, его доставать и ловить, — все это было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу бабъ и жиденятъ. Словомъ, вышло бы совсѣмъ неприлично офицерскому званію, — между тѣмъ какъ паньчи, подбитые подъ столъ, сидѣли тамъ смирно и только жались, обнявшись другъ съ другомъ, на тѣсномъ пространствѣ, гдѣ ихъ тѣснили офицерскія ноги, въ сапогахъ со шнорами.

Все было прекрасно, но въ компанію замѣшался чортъ, и все дѣло испортилось: офицеры до того запьянѣли, что стали метать вилки въ портретъ, рассчитывая, что могутъ окружить его такъ же ловко, какъ жонглеръ окружалъ кинжалами голову живого человѣка. Но чортъ тутъ и былъ: какъ только первый офицеръ метнулъ вилку, бѣсъ толкнулъ его подъ локоть — и вилка попала въ самый глазъ портрета. Метнулъ другой офицеръ, а чортъ опять навелъ вилку по тому же направленію въ другой глазъ, и тогда въ оныявшій компаніи развилось соревнованіе, — вилки полетѣли одна за другою и совсѣмъ изуродовали лицо портрета.

Въ пьяномъ загулѣ, перешедшемъ уже въ состояніе умственнаго омраченія, офицеры не придали этому событію никакого особеннаго значенія. Попортили картину—больше ничего. Не Богъ вѣсть какого она мастера,—не Рафаэлево произведеніе и огромныхъ суммъ стоитъ не можетъ. Призовутъ завтра жида-хозяина, спросятъ его, сколько картина стоила, хорошенько съ нимъ поторгуются и заплатятъ, — и на томъ квитъ всему дѣлу. Зато какъ было весело, сколько шутили и смѣялись при всякой неудачѣ бросить вилку такъ мѣтко, какъ бросалъ жонглеръ.

— Нѣтъ, онъ, шельма, лучше дѣлалъ. Намъ такъ не сдѣлать. И славу Богу, что никто живой не согласился передъ нами сидѣть, а то бы мы живому глаза повыкололи— тогда и не раздѣлаться.

Очень рады были добрые удалыцы, что такъ хорошо дѣло кончилось одними смѣлками да шутками, и, поддерживая другъ друга, разбрелись по квартирамъ. Уходя, они совсѣмъ даже позабыли про судовыхъ панычей, которые притихли подъ столомъ и не подавали о себѣ ни слуху, ни духу.

А дѣло было совсѣмъ не такъ просто и совсѣмъ неблагополучно, какъ думали разошедшіеся на отдыхъ добрые ребята.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Какъ только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавкѣ опустѣла, «судовые панычи» вылезли изъ-подъ стола и, расправи окоченѣвшія отъ долгаго согбенія колѣни, оглядѣли вокругъ свою диспозицію... Все было тихо — ни въ каморѣ, ни въ лавкѣ ни души, а сквозь густое облако табачнаго дыма со стѣны едва былъ виденъ изуродованный портретъ съ выколотыми глазами и со множествомъ рваныхъ дырокъ въ другихъ мѣстахъ.

По счастью для однихъ и по несчастью для другихъ, панычи были много трезвѣе офицеровъ, потому что, когда тѣ довершали свое ошьянѣніе за столомъ, изъ-за котораго метали въ портретъ вилки, заключенные подъ столомъ Гераклитъ и Демокритъ значительно «прочунѣли», — чему, можетъ-быть, сильно содѣйствовали и страхъ, и воздержаніе, и жажда мести, которая въ нихъ зажглась, и они придумали прекрасный планъ наказать своихъ обидчиковъ.

Панычи, недолго размышляя, сняли со стѣны израненный портретъ и, выбѣжавъ съ нимъ вмѣстѣ на крылечко лавки, закричали: «гвалтъ!»

— Люди добрые, сходитесь... Кто въ Бога вірус и старинхъ поважае, дывитесь... Ось якъ охвицеры такой персоны патреть спонивадыли!

И сейчасъ на этотъ зовъ — ни вѣсть откуда, какъ изъ земли, выросли спрятавшіеся на время дебоша хозяева, приближали съ торга бабы-перекушки, загалдѣли жиденята, — и пошла исторія.

Жидъ-хозяинъ, больше всѣхъ струсившій и всѣхъ болѣе недовольный скандаломъ, закрылъ себѣ большими пальцами глаза, какъ закрываетъ ихъ благословляющій раввинъ, и кричалъ:

— Я ничего небачывъ и теперь не бачу да и не знаю, кто сей войсковій панъ, ще тутъ писанъ... Дай Богъ ему, чтобъ все доброе, а только мени... мени теперь эта картина совсѣмъ не нужна... Я ее жертвую: берите ее себѣ кто хочетъ.

А Демокритъ возглашаетъ:

— Мы то знаемъ... яка се персона и протестуемось... Вачте, добри люди, — очей нема, повыколотованы. Несемъ портретъ до городничаго.

И Демокритъ понесъ израненный портретъ по улицѣ къ городническому дому, а Гераклитъ его сопровождалъ и опять раскисъ на тепломъ солнышкѣ и плакалъ, и всѣ, кто за ними слѣдовалъ, указывали на него съ похвалою, говоря:

— Отъ се жъ дивитесь яке чувства маеть!

А офицеры себѣ спятъ да спятъ и не чувуютъ, что они опротестованы и что дѣло это имъ непременно натворитъ хлопотъ, съ которыми не знать какъ и развязаться.

Но если грузенъ былъ ихъ хмельной сонъ, то не легко было и пробужденіе на слѣдующее утро.

Рано всѣхъ собутельниковъ описанной попойки обѣжалъ вѣстовой отъ усатаго майора или ротмистра, который командовалъ эскадрономъ и представлялъ своимъ лицомъ высшую полковую власть въ мѣстѣ расположенія.

Конечно, ротмистръ еще не Богъ вѣсть какое высокое начальство, — почти то же, что «свой братъ Исакій», и порою «вмѣстѣ плянеть», — однако офицеры струхнули.

Главное лихо въ томъ было, что у нихъ еще головы трещали и они никакъ не могли вспомнить всего, чтѣ вчера происходило въ каморѣ при жидовской лавкѣ... Что-то такое помнилось, что было будто крѣпко закручено, да только не все подъ рядъ вспомнить, а что-то обрывается и являются промежутки времени, когда будто даже и самаго времени не было... Помнится, что будто разогнали жидовъ, да вѣдь это совсѣмъ не важно и не разъ это случалось и при самомъ ротмистрѣ. Разогнать никого не бѣда, а особенно жидовъ, потому что это такой народъ, который самими высшими судьбами обреченъ на «разсѣяніе». Жидъ насчитаетъ лишнее, положить за вышитое то, что и не было шито, и за то поврежденное и разбитое, что совсѣмъ не повреждалось; но они рассчитаются съ нимъ и опять будутъ жить ладно до новой исторіи. Жидъ самъ же имъ поставитъ первую выставку безъ денегъ «на мировую», а потомъ они заохотятся и поддержать коммерцію... Не можетъ быть, чтобы это онъ, жидъ, захотѣлъ съ ними ссориться и былъ причиною внезапнаго ранняго призыва ихъ къ старшему офицеру!.. Развѣ что-нибудь приказные... Кажется, будто тамъ были какіе-то два приказные... «судовые паньчи»... Тоже кушанье неважное... мало ли ихъ вездѣ въ то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоятъ — это красивное сѣмя, взяточники?.. Развѣ вотъ только не обрубили бы которому-нибудь изъ нихъ носъ или уши!.. Вотъ это скверно, — отрубленнаго не приставишь... Но, — Богъ милостивъ, — сходили съ рукъ и не такія дѣла, — сойдетъ и это. Да и на что приказному носъ? — развѣ только чтобы табакъ нюхать да обышать имъ казенную бумагу... А хабаръ или взятка не жаркое, онъ ее и такъ, безъ носа почувствъ... Разумѣется, придется сложиться и заплатить, но въ складчину это не тяжело будетъ...

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ такихъ или приблизительно въ подобныхъ сему размысленіяхъ офицеры, мало унывая, потянулись къ квартирѣ своего старшаго товарища и вступили въ его просторную, но низенькую залу, въ малороссійскомъ домикѣ, смѣло; но тутъ сразу же замѣтили, что дѣло что-то очень неладно. Ротмистръ ихъ не встрѣчаетъ за папирата — въ

полосатомъ канаусовомъ архалукѣ, съ трубкой въ зубахъ, а двери въ его кабинетъ заперты, — пока, значить, всѣ соберутся, тогда онъ и выйдетъ и заговорить ко всѣмъ разомъ...

Эта официальность не обѣщала ничего добраго, и сходящіеся офицеры переглядывались другъ съ другомъ и, понизивъ тонъ до полупошота, спрашивали одинъ у другого:

— Да что это такое?.. Что мы вчера надѣлали?

Одному кому-то на переходѣ по улицѣ удалось что-то услышать про портретъ...

— Портретъ, портретъ... Что такое за портретъ?!

Никто не можетъ вспомнить.

А въ это время дверь вдругъ отворяется и изъ кабинета выходитъ ротмистръ, въ мундирѣ съ эполетами и усы оттопырены, и, не поздоровавшись, начинаетъ рѣчь словами, гораздо позднѣе вложенными Гоголемъ въ уста Сквозника-Дмухановскаго.

— Я пригласилъ васъ, господа, для того, чтобы сообщить вамъ пренеприятное извѣстіе: на васъ подава жалоба по гражданскому начальству, и мнѣ сообщилъ о ней городничій; я долженъ васъ арестовать. Пожалуйте мнѣ ваши сабли и извольте сейчасъ чистосердечно объясниться: что вы такое вчера надѣлали въ лавкѣ?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать ихъ эскадронному, но насчетъ «чистосердечнаго объясненія» отвѣчали, что они и сами рады бы узнать, что такое именно они надѣлали, но не могутъ привести себѣ этого на память.

Ротмистръ еще принасунился и еще суровѣе произнесъ:

— Прошу не шутить! я съ вами говорю по службѣ, какъ старшій!

— Шутокъ и пѣть,—отвѣчалъ одинъ изъ обвиняемыхъ:— а ей-Богу мы не помнимъ.

— Припоминайте!

— День былъ жаркій... вошли невзначай... стали нить въ холодакъ полынное... съ жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имѣли... Тамъ даже были два приказные, и тѣ все могли видѣть...

— То-то и есть... два приказные! Въ нихъ-то и дѣло. Эти два приказные, дѣйствительно, могли все видѣть, и они и видѣли, а вотъ вы чѣмъ будете противъ нихъ оправдываться? Срамъ нашему званію!

— Да въ чемъ оправдываться?... Позвольте узнать, — проговорили офицеры.

— А вотъ въ чемъ вамъ надо оправдываться!— воскликнулъ ротмистръ и, вынувъ изъ кармана сложенный вчетверо листъ бумаги, сталъ читать обязательно сообщенную ему городничимъ копію съ извѣта судовыхъ панычей, гдѣ писано, какъ госнода офицеры повреждали портретъ метаніемъ вилокъ, несмотря на то, что они, случившіеся на мѣстѣ преступленія судовые панычи, «имѣя въ сердцахъ своихъ страхъ Божій и любовь ко Всевышнему», во все это время стояли на колѣняхъ и до того даже, что растерзали на тѣхъ мѣстахъ объ полъ имѣвшіяся на нихъ въ ту пору единственныя шаровары и по той причинѣ теперь лишены возможности ходить на исправленіе обязанностей службы. А потому они противъ всего оказаннаго офицерами безчинства по долгу своему протестуютъ, а за панталонное поврежденіе просятъ взыскать съ виновныхъ, особенно въ пользу каждаго, по двадцати рублей ассигнаціей.

Дочитавъ это ротмистръ и, свистнувъ вѣстовому, велѣлъ подать изъ своей спальни портретъ, на которомъ офицеры воочию могли увидѣть слѣды своего вчерашняго временипровожденія, и остолбенѣли...

А ротмистръ межъ тѣмъ спялъ съ собою мундиръ и, оставшись въ одномъ военномъ галстукѣ, сѣлъ на столъ и, заложивъ руки за вышитыя гарусныя подтяжки, заговорилъ другимъ голосомъ:

— Дѣло, госнода, плохое. Это имѣетъ предрипной характеръ, потому что тутъ чортъ знаетъ чтò такое присочинять... Какая-то ничтожная приказъ, дрянъ, канцелярскіе съ приписью подьячіе и противъ офицеровъ... Я съ вами обошелся какъ старшій, а теперь говорю какъ товарищъ... Этого такъ предоставить своему обыкновенному теченію невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностію, какъ прилично благороднымъ людямъ... Поможетъ это или нѣтъ, но надо дѣйствовать откровенно и честно. Прону садитесь, закуривайте трубки и давайте думать. А мое мнѣніе такое: грѣхъ воровать, да нельзя миновать. Надо тѣмъ пользоваться, что почта въ Переяславъ вчера ушла и теперь опять только черезъ три дня пойдетъ. Это ваше счастье. Я отобралъ у васъ сабли, и вы выберите поскорѣе изъ

себя двухъ, и пусть они скачутъ къ полковнику и расскажутъ ему все по совѣсти. Онъ съ губернаторомъ хорошо знакомъ и помочь можетъ.

Лучше этого плана не могли и придумать, и черезъ часъ два офицера уже скакали изъ Пирытина въ Переяславъ, а на дорогѣ у нихъ Фарбованая; съ неба послѣ жары и духоты ударилъ громъ и полилъ ливень, и въ потокахъ воды, какъ пузырь, выскакиваетъ передъ офицерами изъ хлѣбовъ хохоль въ видлогѣ.

— Що за люди съ дзвономъ и чого треба?

Отвѣчаютъ:

— Мы офицеры, ѣдемъ по своему дѣлу.

— А якъ по своему дѣлу, то вертайте до нашего пана Вишневекаго.

Офицеры было не хотѣли, но хохоль ихъ убѣдилъ, что:

— Се вже такички... такая поведенция.

Заѣхали, чтобы переждать дождикъ и грозу, а Степанъ Ивановичъ встрѣчаетъ ихъ радушно, — сейчасъ напоилъ, накормилъ и спрашиваетъ:

— Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою дальше рветесь въ такую погоду?

Офицеры отвѣчаютъ по-сказочному, — что ѣдутъ они и волей, и неволей, и своею охотою.

— А именно?.. Можетъ-быть, я пособить вамъ могу, что и ѣхать не надо будетъ.

Тѣ вздохнули и говорятъ:

— Нѣтъ, у насъ такое трудное дѣло, что развѣ только полковникъ губернатора уприсить можетъ.

— Ну, однако — чтѣ такое губернаторъ? Я вѣдь не изъ пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры рассказали.

Вишневскій поводитъ себя растопыренными пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Это совсѣмъ не губернаторское дѣло, и вамъ въ Переяславъ ѣхать не зачѣмъ. Никто вамъ не поможетъ, если не дать дѣлу правильного оборота.

— А какъ ему дать правильный оборотъ?

— Ну, это мнѣ надо еще почихать.

И Степанъ Ивановичъ опять поводитъ себѣ пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Да, вижу я, что всѣ вы хоть москали и надо бы

вамъ насъ учить, а вы дѣло не хорошо поставили и можете его совсѣмъ испортить, если пойдете къ старшимъ. Вы вашею откровенностію себѣ не поможете и начальство затрудните, а вотъ я васъ до завтраго у себя арестовываю и имѣю право арестовать, потому что вы мнѣ сами сознались, что сбѣжали, да при васъ и вашихъ сабель нѣтъ. Прошу пожаловать во флигель, — тамъ вамъ готовы всѣ услуги, и спите крѣпко, а завтра утромъ все ваше дѣло приметъ такое правильное направленіе, какъ слѣдуетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Офицеры, поговоривъ, подумали: что же, до утра подождать бѣда не велика, — и подчинились свособычному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованскій панъ крикнулъ гайдука Прокопа, велѣлъ ему сѣсть въ бричку и скакать въ Пирятинъ, гдѣ найти такихъ-то двухъ судовыхъ панычей и во что бы ни стало привезти имъ къ утру въ Фарбовану.

Гайдукъ поскакалъ, разыскалъ панычей и говорить:

— Мій панъ Вишневскій нездужае. Такъ ему прикоро- тило, що ажъ не знаю, чи вінъ до вечера додышитъ. Схопився, колысь теперечки отказну духовну писать и при- славъ меня до васъ просити, щобъ сейчасъ увзяли съ собою каломарь и паперу и їхали со мною, въ свидѣтеляхъ подписаться. Вамъ за се добрый хабаръ буде.

Панычи знали, что Вишневскій *никогда не болѣлъ*, а такіе если заболѣть, то къ смерти.

Они подумали: «Вѣрно онъ помретъ, то и мы себѣ что-нибудь въ духовной припишемъ. Онъ больной не расчу- хаеть».

Такъ они съ радостію скоро собрались и поѣхали и какъ Степанъ Ивановичъ только проснулся, — они уже у него на крыльцѣ стоятъ.

Степанъ Ивановичъ сдѣлалъ для этихъ гостей маленькую отѣну въ приѣмномъ этикетѣ. Въ домъ онъ ихъ, раз- умѣется, тоже не впустилъ, но велѣлъ вынести на свой линостротонъ маленькій столикъ и на двухъ панычей одинъ стулъ, — только съ тѣмъ, чтобы они не смѣли на него садиться.

Затѣмъ онъ вышелъ къ нимъ въ картузѣ съ большимъ козырькомъ и повелъ политику.

— Васъ, говоритъ, — мой гайдукъ надулъ, будто я помираю. Это еще, хлопцы, Богъ дастъ, не скоро будетъ, и я до тѣхъ поръ привезу для своей духовной другихъ свидѣтелей, васъ поисправяте. А я привезъ васъ сюда для вашего блага...

Тѣ смотрятъ.

— Что вы тамъ, анаемы, позавчера у жида въ каморѣ надѣлали? А?

Панычи выразили удивленіе.

— Помилуйте... Кто это вамъ наговорилъ?.. Мы ничего, а это офицеры...

— Да, да, — я все знаю. Потому мнѣ васъ и жаль, что вы, дуриш, вздумали свою вину на офицеровъ взваливать, какъ будто это вамъ поможетъ... Вы-бъ таки одно то вздумали, что офицеровъ шесть человѣкъ свидѣлствуютъ, что вы портреть повредили, а васъ противъ нихъ всего только двое... Кто же вамъ повѣритъ?

— Позвольте... да мы...

— Нечего, нечего пустяки говорить, — перебиваетъ Вишневецкій. — Я все знаю, — мнѣ все извѣстно. Вы тамъ задумали доносъ писать, и когда еще вашъ тотъ доносъ пойдетъ, — а ужъ офицеры поскакали и въ Переяславъ, и въ Полтаву, и въ Кіевъ. Хвала Божья, що я ихъ перехвативъ да у себя заринтовавъ... Ихъ шесть человѣкъ и всѣ видѣли, какъ вы вилки кидали...

— Позвольте... да когда же мы кидали? —

— Нечего, нечего! — не даетъ слова Вишневецкій: — васъ двое, а ихъ шесть, и вамъ не выкрутиться. Притомъ они васъ знаютъ... они благородные дворяне, а вы что такое? — яки-сь крученые панычи, шидкрапивники...

— Да мы въ правдѣ...

— Цыцъ! что такое за правда съ москалями! Ихъ шесть, а васъ двое... Кто-жъ вамъ повѣритъ? И развѣ вы не знаете, что у васъ и все большое начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жида навѣрно за сильнѣйшаго потянутъ — скажутъ, что видѣли, какъ вы кололи.

— Смилуйте, пане, — вѣдь жида-жъ шельмы!

— Да кто-жъ вамъ говоритъ, что они не шельмы, а только они на васъ покажутъ... Вотъ потому-то мнѣ васъ и жаль, что вы въ такую бѣду попали, ажъ просвіту нема.

Подьячіе, понимая толкъ въ формахъ судопроизводства, видятъ, что, чортъ возьми — дѣло-то вѣдь въ самомъ дѣлѣ плохо и не только имѣть никакого преферанса на ихъ сторонѣ, а даже, пожалуй, какъ пить дадутъ — всю вину на нихъ взвалить.

— Ихъ вѣдь шестеро... а насъ двое... А!

— Да... А еще жиды, можетъ-быть...

— Что же дѣлать?

— Что намъ, ваша милость, дѣлать?

— А я вотъ что научу васъ сдѣлать. Садись-ка одинъ изъ васъ и пиши, что я говорить буду.

Началось писаніе, а Степанъ Ивановичъ диктуесть:

«Бувъ малосмысленны отъ природы и отъ обращенія въ хабарной бѣдности помрачени совѣстью»...

Пишущій пріостановился... но Вишневекій его подогналъ:

— Пиши, пиши! Это такъ надо.

«Помрачени совѣстью... мы такой-то и такой судовые кописты, приди въ камору при жидовской лавкѣ, упилися до безумія нашего и, зачавъ за хабара спориться, стали другъ въ друга метать вилками, и какъ були весьма пьяны, то попали неосторожно въ портретъ»...

Пишущій опять остановилъ руку, но Степанъ Ивановичъ пощупалъ его за затылокъ, и тотъ сейчасъ же сталъ продолжать и написалъ до конца цѣлый актъ своего признанія въ невольной винѣ и потомъ въ томъ, что «по опасенію своему они рѣшились было возвести свою вину на офицеровъ, уювая, что тѣмъ, какъ людямъ войсковымъ, ничего не будетъ. Но нынѣ, чувствуя свое согрѣшеніе и помышляя часъ смертный, они въ томъ каются и просятъ у офицеровъ прощенія и *недопесенія*. А за провинность свою, въ пьяномъ видѣ сдѣланную, сами упросили пана Вишневекаго родительски наказать ихъ у него въ селѣ Фарбованой по возможности розгами, послѣ чего Вишневекій будетъ, въ случаѣ надобности, просить, чтобы дѣло не начпналось».

— Да за що жъ... ваша милость, за що жъ насъ же и битимуть?

— Это только такъ пишется!

Они подписались, и Вишневекій подисалъ, и позвалъ офицеровъ.

— И вы, говорить,—господа, подпишите, что согласны ихъ простить отъ своего общества и ужъ, пожалуйста, повоенному — будьте великодушны, ни до кого этого дѣла... не доводите. Я вѣдь межъ васъ порукою.

И тѣ подписали.

— Вотъ такъ чисто,—сказалъ Степанъ Ивановичъ, кладя въ карманъ бумагу, — а теперь,—добавилъ онъ, обращаясь къ людямъ,—сведите этихъ панычей на конюшню и ведите ихъ тамъ добре выпоротъ.

— Помилуйте, — что такое...

— А то що такое? — это же такъ... якъ писано есть! Що жъ вы уже писанію хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите ихъ, хлопци!

И выпороли.

Этихъ панычей послѣ, говорятъ, будто долго спрашивали:

— Що якъ имъ трапилось: якъ вони въ Фарбованой фарбовались?

А къ Степану Ивановичу въ Фарбованую пріѣзжалъ ко-мандиръ и хоть словами не говорилъ, но всѣмъ выражалъ ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направленіе дѣла».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Самъ въ собственныхъ своихъ дѣлахъ Степанъ Ивановичъ былъ предусмотрителенъ и поддавался ошибочнымъ увлеченіямъ только тогда, когда его стуманивала любовная страсть. И высшее въ этомъ родѣ безумство овладѣло имъ по одному случаю, бывшему именно съ тою тонкой и стройной Ганкой Петруненко, у ногъ которой мы его оставили на коврѣ.

Во время любви Вишневскаго къ этой дѣвушкѣ, въ церкви села Фарбованой былъ священникъ, котораго называютъ Платономъ. Онъ имѣлъ будто довольно общую русскимъ людямъ слабость, что трезвый «на все добре молчалъ», а выпивши — любилъ говорить и даже «правдую матку ризать».

На другой день, послѣ того, какъ Вишневскій всталъ съ ковра, онъ радостно объявилъ утромъ Степанидѣ Васильевнѣ важную новость.

Ганка ощутила въ себѣ біеніе новой жизни.

— И то, что отъ нея родится, ужъ не будетъ моимъ крѣпакомъ, а будетъ вольнымъ,—сказалъ Вишневскій.

Степанида Васильевна встала и поцѣловала мужа въ голову.

Это былъ рѣдкій даръ любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его дѣтей были писаны за нимъ «душами» и благополучно исправляли паньщину на его поляхъ.

И Гапочка была веселенькая.

А черезъ часъ она пошла себѣ рвать малину, и тогда къ садовой оградѣ подошелъ въ правдивомъ настроеніи отецъ Платонъ. Онъ увидаль дѣвушку и заговорилъ съ ней пастырскимъ тономъ:

— Що, дивчинка — весела?.. Веселись, веселись, — ишь малынку сладеньку... а якъ родышь дыгынку маленьку, такъ тоди тобѣ буде по потылицѣ...

— Зачѣмъ такъ? — оглянулась на него въ бокъ Гапка, вдругъ внезапно сконфуженная и огорченная... потому что, — какъ это ни странно, — Вишневскаго любили многія женщины, дѣлавшія сначала его любовницами противъ своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачѣмъ ей непременно надлежить быть прогнанной, какъ только она родить дытыну.

— А зачѣмъ, — отвѣчалъ батюшка: — що на панскомъ дворѣ не держать коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно въ новомъ, чуткомъ состояніи своего организма, и стала горько плакать; но, какъ скрытная малороссійка, она ни за что не хотѣла сказать о чемъ плачетъ. Степанъ Ивановичъ самъ о всемъ довѣдался: люди видѣли, какъ священникъ говорилъ съ Гапкою, и донесли пану, а тотъ сейчасъ потребовалъ своего духовнаго отца къ себѣ на исповѣдь и говорить ему:

— Что такое ты насаказалъ Гапци?

Священникъ не могъ рѣшиться сказать, что онъ говорилъ дѣвушкѣ, и говоритъ:

— Не помню.

Вишневскій взбѣсилъ и заоралъ:

— Ага!.. я теперь тебя знаю: это ты самъ до нея матавьясь... Ты думалъ, що вона мене на тебя зміняє?

— Что вы, что вы, ваша милость...

— Нечего «моя милость». Моя милость только тѣмъ тебя помилуетъ, что, какъ духовный сынъ твой, я бить тебя не велю, а пускай тебя уберутъ, якъ слѣдъ, и проведутъ по селу, щобъ бачили, якій ты паскудникъ...

Несчастливаго взяли, раздѣли, всунули его въ рогожный кулъ, изъ котораго была выставлена въ прорѣзъ одна голова, и въ волосы ему насыпали пуху и въ такомъ видѣ провели по всему селу.

Священникъ бѣдиль, жаловался, просилъ перевода и получилъ его, безъ всякихъ, впрочемъ, неудобныхъ для Степана Ивановича послѣдствій.

Отмщеніе ему воздалъ самъ обиженный священникъ, но отмщеніе смѣшное и очень позднее. Оно открылось черезъ много лѣтъ, когда Степанъ Ивановичъ задумалъ выдавать замужъ одну изъ своихъ дочерей. Тогда потребовалась выпись изъ метрическихъ книгъ, и тамъ неожиданно нашли глупую и совершенно безсмысленную запись по подчищенному, что такого-то Степана Ивановича и законной жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было бессмысленно и серьезнаго вреда Степану Ивановичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. Какъ, съ нимъ и осмѣлились отшутить такую шутку!.. И кто же? — полъ! И притомъ — онъ останется неотомщеннымъ... потому что отецъ Платонъ раньше этого волею Божіею умеръ.

Иначе, разумѣется, Степанъ Ивановичъ нашелъ бы его и въ чужомъ приходѣ...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Таковы были дикіе поступки этого оригинала, которые теперь, въ наше порицаемое время, были бы невозможны, или ихъ навѣрное нынче зачли бы за психопатію. Но у Вишневскаго отдавали психопатизмомъ и самые его вкусы и ощущенія. Онъ, напримѣръ, не чувствовалъ красоту природы, но любилъ только ночь и грозвые эффекты, а въ мірѣ животныхъ любилъ только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «цѣлуются», а лошади потому, что въ нихъ есть удалъ, быстрота и голосъ... Да, да, да, — ему чрезвычайно нравился лошадиный голосъ, т. е. ржаніе.

Для доставленія себѣ удовольствія въ первомъ родѣ,

Степанъ Ивановичъ содержалъ передъ своими окнами большую голубятню и часто по цѣлымъ часамъ любовался, «якъ воли цѣлуются». И Степаниду Васильевну призывалъ къ этому зрѣлищу.

— Смотри,—цѣлуются.

И смотрять, бывало, оба—долго-долго и навѣрно съ хронными мыслями.

Для конскаго ржанья Степанъ Ивановичъ всегда ѣздилъ на жеребцахъ, и оставался совершенно равнодушнѣмъ къ тому, если они производили безпорядокъ въ какомъ-нибудь сѣздѣ экипажей. Но и этого ему мало было: гдѣ бы онъ ни слышалъ конское ржаніе—на ѣздѣ ли это или изъ дома, онъ сейчасъ же останавливался, поднималъ передъ собою палецъ и замиралъ... Навѣрно ни одинъ меломанъ не слушалъ такъ страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимѣйшее зрѣлище Вишневаго было хорошій конскій табунъ, гдѣ гуляетъ мощный и красивый жеребецъ. Даже издали слышавъ его ржаніе, Степанъ Ивановичъ останавливался, и лицо его принимало выраженіе полного удовольствія... Казалось, глаза его, не стѣсняясь пространствомъ, видѣли, какъ конь, напрягши хребетъ и втягивая и поздряи и оскаломъ воздухъ, несетя и пышетъ страстью...

— Слышишь, Степанида Васильевна?

— Да, мой другъ, слышу.

И счастливая всѣмъ на свѣтѣ, что только доставляло удовольствіе ея мужу, она и здѣсь выражала счастье... И Степанъ Ивановичъ это цѣнилъ.

Ему было шестьдесятъ лѣтъ, когда Степанида Васильевна скончалась и онъ ее оплакалъ горячими слезами, а потомъ, несмотря на свой преклонный уже возрастъ, довольно скоро вступилъ во второй бракъ съ восемнадцатилѣтнею красивою малороссійскою дѣвушкою по фамиліи Гордіенко. И снова съ этою своею супругою тоже былъ счастливъ, но... Степаниду Васильевну помнилъ... Второй его молодой супругѣ, при многихъ ея достоинствахъ, не доставало той, такъ сказать, *вхожести* во всѣ его слабости и маніи... Ей Степанъ Ивановичъ не указывалъ на цѣлующихся голубковъ и не хотѣлъ ее спрашивать, слышитъ ли она, какъ звенитъ и разрывается трелями, а потомъ сходитъ на октаву источнымъ голосомъ заливающійся султанъ табуна...

Вишневскій попробовалъ-было обратитьъ на это вниманіе своей новой жены, но она оказалась безчувственна,—она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

— Да, слышу, это гдѣ-то лошадь заржала! — и затѣмъ опять спокойно принялась за свою работу...

Не такъ должна была относиться къ такимъ страстнымъ вещамъ женщина съ живою фантазією!..

Степанъ Ивановичъ понималъ, что его новой женѣ недостаетъ того, что имѣла прежняя, и не втягивалъ ее болѣе въ цѣль понятій, которыя были ей недоступны.

Въ минуты душевнаго подъема онъ только вздыхалъ и искалъ глазами портрета Степаниды Васильевны и ей улыбался...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Со второю своею супругою Вишневскій прожилъ еще около двадцати лѣтъ, наслаждаясь никогда не измѣнявшимся ему здоровьемъ, и скончался, начавъ девятый десятокъ. Всѣхъ лѣтъ жизни его было восемьдесятъ два года. Неможей старости или медленнаго, но постояннаго умиранія, онъ тоже не испытывалъ, а когда пришелъ къ нему его часъ, онъ сразу отпалъ, какъ отпадаетъ отъ стебля мягко созрѣвшая малина.

Утромъ, въ одинъ изъ дней своего восемьдесятъ третьяго года,—весною, когда въ Малороссіи цвѣтеть роскошно сирень, Степанъ Ивановичъ обѣзжалъ никому не подававшуюся ногайскую кобылицу.

При участіи своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести, онъ уходилъ до изнеможенія дикую кобылицу и, сойдя съ сѣдла, отдавалъ ей поводья конюхамъ, а самъ взошелъ на балконъ и вдругъ остановился...

Вишневскому показалось, что у него какъ будто «отряслось сердце»... Скакалъ - скакалъ, трясся - трясся—и оно отряслось... Такъ совсѣмъ безъ боли, безъ поврежденія какъ будто упала дозрѣвшая ягода... Мѣсто его стало пусто... и все вдругъ стало сдвигаться, какъ часовыя гири, у которыхъ бечева сошла съ колеса.

Вишневскій сѣлъ скорѣй въ кресло и хотѣлъ что-то сказать, но языкъ его завялъ въ устахъ... Все такъ хорошо, кругомъ цвѣтъ и благоуханіе... Онъ все видитъ, слышитъ и понимаетъ... Вотъ конюхи, облегчивъ подпругу, «разво-

дять» подъ тѣнью стѣны потную кобылицу... Она отды-
хаетъ, встряхнулась и легкія частицы покрывавшей ее бѣ-
лой пѣны пронесли въ воздухъ. За стѣною конюшни раз-
дался ударъ о помость двухъ крѣпкихъ переднихъ копытъ
и разлилось могучее и звонкое съ фagотнымъ трескомъ:
и-го-го-го!..

Стенанъ Ивановичъ повелъ глазами направо и налѣво...
Онъ искалъ портрета Степаниды Васильевны, но остано-
вилъ ихъ на кустъ цвѣтущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что онъ увидалъ тамъ самоё Степаниду Ва-
сильевну съ ея продолговатымъ обличьемъ тиша Шубин-
скихъ, и... упалъ со стула къ ея ногамъ—мертвый. Въ
жизни иной они оба другъ друга, вѣроятно, узнали.

Н. О. ЛЬСКОВА

Оглавление

ХІХ ТОМА.

| | СТР. |
|--|------|
| Святочные рассказы: (Продолжение). | |
| Старый геній | 3 |
| Путешествіе съ нигилистомъ | 12 |
| Маленькая ошибка. Секретъ одной московской фамиліи | 20 |
| Пугало | 28 |
| Фигура | 79 |
| Рассказы кетати: | |
| Совмѣстители | 105 |
| Старинные психопаты | 138 |

F

24.124/19-21